



СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ

БУЛЬВАР РОТШИЛЬДА

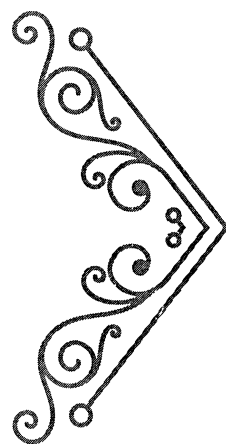
№3
2018

Литературно-художественный
и общественно-политический
независимый журнал



СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ

БУЛЬВАР РОТШИЛЬДА



Литературно-художественный
и общественно-политический
независимый журнал

№3

Тель-Авив
2018

БУЛЬВАР РОТШИЛЬДА

Литературно-художественный

и общественно-политический независимый журнал, №3, 2018



Творческая организация – Союз русскоязычных писателей Израиля

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Леонид ФИНКЕЛЬ (главный редактор),

Любовь ХАЗАН (заместитель главного редактора),

Евгения БОСИНА, Александр КАНЕВСКИЙ, Марк КОТЛЯРСКИЙ,

Аркадий КРУМЕР, Михаил ЛАНДБУРГ, Виктория ОРТИ,

Галина ПОДОЛЬСКАЯ, Ася ТЕПЛОВОДСКАЯ, Грегори ФРИДБЕРГ,

Александр ШОЙХЕТ, Ирина ЯВЧУНОВСКАЯ

Дизайн и графика: Нелли Васильницкая

Обложка Грегори Фридберга и Суни Векслера

На обложке: легендарный первый мэр Тель-Авива Меир (Меир Янкелевич) Дизенгоф (1861–1936), скульптор Давид Зунделович, 2009 год.

© Авторские права на публикуемые произведения
принадлежат их авторам

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

דפוס השחף

רח' יל. פרץ 9 תל אביב

www.sh-print.co.il

e-mail: p-shahaf@015.net.il

OCR Давид Титиевский, апрель 2019 г., Хайфа

СОДЕРЖАНИЕ

Понять? Простить? Забыть? *100 лет после Переворота*

«ТЕПЕРЬ ОКТЯБРЬ НЕ ТОТ»

Композиция по произведениям, дневникам, письмам и высказываниям
Сергея Есенина, Льва Троцкого, Демьяна Бедного, Марины Цветаевой,
Анатолия Луначарского, Владислава Ходасевича, Зинаиды Гиппиус, Осипа
Мандельштама, Александра Блока, Ивана Бунина, Анны Ахматовой,
Владимира Маяковского, Герберта Уэллса, Ефима Зозули и др.

Составитель ЛЮБОВЬ ХАЗАН

5

Проза и о прозаиках

ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. Юбилей полковника

12

ДИНА РУБИНА. Берта

26

АЛЕКСАНДР КАНЕВСКИЙ. Мишка Норушко

38

ЛЮБОВЬ ХАЗАН. Когда пыль легла на колени покинутых местечек...

47

ЦВИ ПРЕЙГЕРЗОН. Бухгалтер

50

АЛЛА ЛИПНИЦКАЯ. Анка

54

ДАВИД ХАХАМ. Литератор, учёный, муза Иосифа Бродского

59

Поэзия и о поэтах

ВАДИМ ХАЛУПОВИЧ. Стихи

66

ЭДУАРД ФИШЕР. Стихи

68

ЛЮДМИЛА КЛЁНОВА. Стихи

69



ИРИНА ЯВЧУНОВСКАЯ. Стихи

71

ЛЕОНИД ФИНКЕЛЬ. Материал, из которого сделаны гении...

74

Воспоминания ЕФРЕМА БАУХА и МИХАИЛА ГРОБМАНА

Вечер памяти Ильи Бокштейна

87

ШУЛАМИТ ШАЛИТ. Юлия Нейман: «Со стихами не в законном браке...»

94

Искусство быть евреем

ОКСАНА ЯБЛОНСКАЯ. Еврейский вопрос

100

МАХМУД ЭСАМБАЕВ. Моя еврейская мама

103

МАКСИМ ВЕНГЕРОВ. «Ансамбль скрипачей – это звучит мистически...»

107

Публицистика

СОФИЯ ШЕГЕЛЬ. Вязь времен

109

От великого до смешного

АРКАДИЙ КРУМЕР. Встреча с Шамиром

115

ЕФИМ ЩЕРБА. Записки на полях

117

По следам рубаистов

НИСАН НИЯЗОВ. Рубаи

118

Наши гастроли

О творчестве Игоря Хентова

119

Звёздный концерт в Москве

120



ПОНЯТЬ? ПРОСТИТЬ? ЗАБЫТЬ? 100 ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА

«ТЕПЕРЬ ОКТЯБРЬ НЕ ТОТ»

Сергей Есенин

ВОСПОМИНАНИЕ

Теперь октябрь не тот,
Не тот октябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл
Октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.

.....
Свершилась участь роковая,
И над страной под вопли «матов»
Взметнулась надпись огневая:
«Совет Рабочих Депутатов».

1924 год

Лев Троцкий

МОЯ ЖИЗНЬ

В течение последней недели я уже почти не покидал Смольного, ночевал, не раздеваясь, на кожаном диване, спал урывками, пробуждаемый курьерами, разведчиками, самокатчиками, телеграфистами и непрерывными телефонными звонками. Надвигалась решительная минута. Было ясно, что назад возврата нет...

Все хорошо. Лучше нельзя. Можно отойти от телефона. Я сажусь на диван. Напряжение нервов ослабевает. Именно поэтому ударяет в голову глухая волна усталости. «Дайте папиросу!», – говорю я Каменеву. В те годы я еще курил, хотя и не регулярно. Я затягиваюсь раза два и едва мысленно успеваю сказать себе: «Этого еще недостаточно», как теряю сознание. Склонность к обморокам при физической боли или недомогании я унаследовал от матери. Это и дало повод одному американскому врачу приписать мне падучую болезнь. Очнув-

шись, я вижу над собою испуганное лицо Каменева. «Может быть, достать какого-нибудь лекарства?» – спрашивает он. «Гораздо лучше было бы, – отвечаю я, подумав, – достать какой-нибудь пищи».

Я стараюсь припомнить, когда я в последний раз ел, и не могу. Во всяком случае это было не вчера...

Поздно вечером, в ожидании открытия заседания съезда Советов, мы отдыхали с Лениным по соседству с залом заседаний, в пустой комнате, где не было ничего, кроме стульев. Кто-то постлал нам на полу одеяло, кто-то – кажется, сестра Ленина – достал нам подушки. Мы лежали рядом, тело и душа отходили, как слишком натянутая пружина. Это был заслуженный отдых. Спать мы не могли.

Демьян Бедный

ИЗ ПОЭМЫ «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»

.....

– Раз-два,
– В ход!!
– Грянул семнадцатый год.
– Кто там?

Кто там
Хнычет испуганно:

«Стой!» –

– Кто по лихим живоглотам
Выстрел дает холостой?

– Кто там виляет умильно?

К черту господских пролаз!

– Раз-два, Сильно!..

– Е-ще

Раз!..

– Нам подхалимов не нужно!

Власть – весь рабочий народ!

– Раз-два,

Дружно!..

– Раз-два,

В ход!!

– Кто нас отсюда тронет?

Силы не сыщется той!

.....

Главная Улица стонет

Под пролетарской пятой!!

7 ноября 1917-1922 годов

«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА»,

9 НОЯБРЯ 1917-ГО (Петроград):

Зимний дворец обстреливался из пушек. В упор, по одной расстреливались молодые девушки из женского батальона, которые вместе с юнкерами охраняли дворец. С лестницы стаскивали и швыряли людей о камни... На другой день расстреливали на улице встречных юнкеров вооруженные «борцы за социализм». Красногвардейцы останавливали женщин с попытками насилия...

После захвата Зимнего дворца и ареста министров во дворце были поставлены караулы из солдат. К сожалению, солдаты обнаружили истинно варварское отношение к бесценным сокровищам, накопленным во дворце и объявленным после революции национальной собственностью. Все шкафы взломаны, дорогие замки разбиты или выворочены. Столы из сибирских камней и мозаики сломаны. Солдаты рвали художественные портьеры и на вопросы откровенно признавались, что решили сделать себя портянки получше. Солдаты забивали себе карманы всем, что попадалось под руку, не щадя ничего. Мер к прекращению вандализма принято не было.

Марина Цветаева

Ночь. – Норд-Ост. – Рев солдат.

– Рев волн.

Разгромили винный склад. – Вдоль стен

По канавам – драгоценный поток,

И кровавая в нем пляшет луна.

Ошалелые столбы тополей.

Ошалелое – в ночи – пенье птиц.

Царский памятник вчерашний – пуст,

И над памятником царским – ночь.

Гавань пьет, казармы пьют. Мир – наш!

Наше в княжеских подвалах вино!

Целый город, топоча как бык,

К мутной луже припадая – пьет.

В винном облаке – луна. – Кто здесь?

Будь товарищем, красотка: пей!

А по городу – веселый слух:

Где-то двое потонули в вине.

Феодосия, последние дни Октября

(NB! Птицы были – пьяные)

Анатолий Луначарский,

нарком народного просвещения

Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве.

Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль, где собраны сейчас важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется.

Жертв тысячи.

Борьба ожесточается до звериной злобы.

Что еще будет? Куда идти дальше! Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилён...

15 (2) ноября 1917 года

Владислав Ходасевич

2-ГО НОЯБРЯ

Семь дней и семь ночей Москва металась

В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро

Пускал ей кровь – и, обессилев, к утру

Восьмого дня она очнулась. Люди

Повыползли из каменных подвалов

На улицы. Так, переждав ненастье,

На задний двор, к широкой луже, крысы

Опасливой выходят вереницей

И прочь бегут, когда вблизи на камень

Последняя спадает с крыши капля...

К полудню стали собираться кучки.

Глазели на пробоины в домах,

На сбитые верхушки башен; молча

Толпились у дымящихся развалин

И на стенах следы скользнувших пуль

Считали. Длинные хвосты тянулись

У лавок. Проволок обрывки висли

Над улицами. Битое стекло



Хрустело под ногами. Желтым оком
Ноябрьское негреющее солнце
Смотрело вниз, на постаревших женщин
И на мужчин небритых. И не кровью,
Но горькой желчью пахло это утро.

.....
20 мая – 1 июня
1918 года

Зинаида Гиппиус

14 ДЕКАБРЯ 17 ГОДА

Д. Мережковскому

Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли все святое:
И стыд души, и честь земли.
Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста. И невесте

Солдатский штык проткнул глаза.
Мы утопили, с визгом споря,
Ее в чану Дворца, на дне,
В незабываемом позоре
И в наворованном вине.
Ночная стая свищет, рыщет,
Лед по Неве кровав и пьян...
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!
Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!
И вот из рва, из терпкой муки,
Где по дну вьется рабий дым,
Дрожа протягиваем руки
Мы к вашим саванам святым.
К одежде смертной прикоснуться,
Уста сухие приложить,
Чтоб умереть – или проснуться,
Но так не жить! Но так не жить!

Осип Мандельштам

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы
И ошетинился убийца-броневик,
И пулеметчик низколобый, –
– Керенского распять! –

потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил
взять Пилат,

И сердце биться перестало!
И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский
тусклый день:

Вязать его, щенка Петрова!
Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.
И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые –
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия.

Ноябрь 1917

Из письма члена РКП(б)
П.Г. Шевцова В.И. Ленину:

Искренне уважаемый Владимир Ильич!
Я думаю, не мне одному – всей России,
каждому рабочему и крестьянину, каждому
честному труженику интеллигенту нужно и
важно знать – почему

1) «диктатура пролетариата» на местах вы-
родилась в диктатуру низов.

2) Почему не дано право критики распоря-
жений и декретов ЦИКа, Совнаркома, Со-
вдепов?

3) Почему дело продовольствия не переда-
ется самому пролетариату в лице професси-
ональных союзов и организаций? в городах
бездействующих?

и 4) почему даже в великий день годовщины
Окт[ябрьской] революции не дано никаких
реальных, кроме митингов, флагов, песен,
фейерверков, Ваших портретов, подачек и
хождений, никаких реальных прав и воз-

можностей [неразборчиво] пролетарским
слоям без страха перед чека, перед обыска-
ми, связанными с злоупотреблениями, без
голодовки?

Наконец, и это главное, почему все совет-
ские работники не подведены под одну ли-
нию в смысле окладов жалования [...]?
Я прямо констатирую – Р.К.П. на местах
превращается в противно-замкнутую и от-
вратительно-самодержавную касту.

*С коммунистическим приветом
гражданин Шевцов.
19 ноября 1918 года*

Александр Блок

ИЗ ПОЭМЫ «ДВЕНАДЦАТЬ»

.....
Так идут державным шагом –
Позади – голодный пес,
Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули неведим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз –
Впереди – Исус Христос.

Начало 1918 года

Иван Бунин

ОКАЯННЫЕ ДНИ

Все будет забыто и даже прославлено! И
прежде всего литература поможет, кото-
рая что угодно исказит, как это сделало,
например, с французской революцией то
вреднейшее на земле племя, что называет-
ся поэтами, в котором на одного истинного
святого всегда приходится десять тысяч пу-
стосвятов, выроdkов и шарлатанов. [...]

Ведь вот и до сих пор спорим, например, о
Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную
девку, суть апостолы или все-таки не со-
всем? Михрютка, дробящий дубиной вене-
цианское зеркало, у нас непременно гунн,
скиф, и мы вполне утешаемся, наклепив на
него этот ярлык.

22 апреля 1919 года

Из письма члена РКП(б) П.Г.
Шевцова В.И. Ленину:

Диктатура пролетариата понимается как «больше-вистский» террор всех и вся из-за власти и денег, а иногда утверждают, что «из-за жидовского владычества» (и тыкают в красноармейскую звезду) и грабежей комиссархии («а было монархии») и, наконец, прямо говорят, что нет диктатуры, есть «произвол обнаглевших и разнуздавших-шихся отбросов интеллигенции с бывшими преступниками-ми и аферистами – провокаторами и жандармами» [...]

Неужели «бей жидов!» – вопрос недалекого будущего?! Как позорно мы кончим...

С горячим коммунистическим приветом
Петр Шевцов.

PS. Стыдно, но вместе с народом – сын его – я верю в силу Вашей личности в истории, вопреки ее служителям, утверждающим, что личности в истории ничто.

П. Ш.

24 декабря 1918 года

Иван Бунин

ОКАЯННЫЕ ДНИ

«Левые» все «эксцессы» революции вают на старый режим, черносотенцы – на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого – на соседа и на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жида на все это дело подбили...»

16 апреля 1919 года

Осип Мандельштам

КАССАНДРЕ

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Воспоминанья мучат нас.

И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

...

На площади с броневиками
Я вижу человека – он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.
Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу – зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?

1917

Из письма Ем. Павлова (Москва)
В.И. Ленину

Если Вы проанализируете последний период времени, Вы заметите, что есть маленькое, почти незаметное, отдаление Ваше от пролетариата столиц. Может быть, виной этому Ваше недомогание, а вернее, кожные люди. Они курят перед Вами фимиам и всеми мерами стараются втащить Вас на такой пьедестал, откуда Вам ничего не было видно, да и Вы виднелись бы народу, как недосыгаемое божество [...].

Подписываюсь псевдонимом, ибо боюсь «кожаных людей».

23 августа 1920 года

Анна Ахматова

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Июль 1922 года

Из письма старых большевиков Н. Подвойского и К. Мехошина В.И. Ленину:

Рабочие жалуются на прямое скрывание правды перед рабочими каждым коммунистом, стоявшим во главе учреждения, в интересах своего учреждения: чтоб не отняли дров, чтоб не отняли продовольствия. Рабочие говорят: «Нажмешь – оказывается, на складе есть, что нужно».

[...] Уже который раз ставится вопрос о снятии с пайка (или уменьшения) привилегированных советских работников. До каких же пор это будет делаться? Имеем в виду не совнаркомовский паек, частично отмененный, а проверку массовых выдач в советских учреждениях. Какое-то здесь явное бессилие власти – отскакивать от этого дела. То же и с карточками широкого потребления.

На вчерашнем собрании говорилось представителями «группы ответственных работников» о необходимости устранить безобразия ответственных работников с особняками и проч. Этот момент несомненно дискредитирует власть. Издание приказа о том, что особняки передаются для рабочих яслей и детских домов, имело бы несомненно большое моральное значение, теперь там живет коммунистическая аристократия [...].

24 февраля 1921 года

Из письма инженера Н. Воронова (Петроград) В.И. Ленину

События, ареной которых с 1917 года стала наша Родина, разрывают мое сердце, я бы отдал всю жизнь, чтобы помочь ей, но не могу вступить в Правительственную партию и не могу притворяться и изнываю в бессильной муке. [...]

Да и вся эта холощенная печать – это типичные болтуны за деньги – она больше пропагандирует против, чем за. [...] Небывалое расстройство промышленности, транспорта и товарообмена. Истощение движущих сил и плечевое состояние народа, в особенности

же духовной знати. Упадок нравственности ввиду повального хищничества («Надо же как-нибудь жить!»). И вероятно, скоро скажется деморализация всей молодой части государства, привыкшей за годы событий легко добывать себе необходимое... К греху именно большевиков нужно отнести из всего этого: 1) изгнание умных людей и 2) неумелое бесконтрольно-безответственное пользование сокровищами государства (тягчайшее – вывоз золота). Все Твои реформы свелись в сущности к следующим: 1) Всеобщие каторжные работы с типичными признаками такого режима: уничтожение права свободного переезда, система пропусков, насильственное питание и обучение и т. д. 2) Усовершенствование до возможных границ Охранного отделения (ЧК) и его распространение на всех граждан; система повальных обысков и отсутствие суда... Ты знаешь, как упала твоя популярность среди питерского населения [...]. Сдай немного, и труп Твой растащат по Москве, как труп Самозванца.

29 мая 1921 года

Владимир Маяковский

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,
освищенная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъявленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овечьему,
шахтеру, пробивающему толщи руд,

кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человеческий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборы
тщетно возносит, пощаду моля, –
твоих шестидюймовок тупорылые боры
взрывают тысячелетия Кремля.

.....
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское –
о, будь ты проклята трижды! –
и мое,
поэтово –
о, четырежды славься,
благословенная!
1918 год

Герберт Уэллс

«РОССИЯ ВО МГЛЕ»

Основное наше впечатление от положения в России – это картина колоссального непоправимого краха. Громадная монархия, которую я видел в 1914 году, с ее административной, социальной, финансовой и экономической системами, рухнула и разбилась вдребезги под тяжким бременем шести лет непрерывных войн. История не знала еще такой грандиозной катастрофы. На наш взгляд, этот крах затмевает даже саму Революцию.

1920 год

Ефим Зозуля

РАССКАЗ ОБ АКЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

Ак сидел в Шкафу на могильных бумагах убитых людей и с небывалым, даже для него, напряжением думал.

– Что вы тут делаете? – спросили Ака.
– Вы видите, я думаю, – устало ответил Ак.

– Но почему же в Шкафу?

– Это самое подходящее место. Я думаю о людях, а думать о людях плодотворно можно непосредственно на актах их уничтожения. Только сидя на документах уничтожения человека, можно изучать его чрезвычайно странную жизнь.

Кто-то плоско и пусто засмеялся.

...

И люди, которых так много в том городе, которых сначала резал Ак, а потом пожалел, а потом опять хотел резать, люди, среди которых есть и настоящие, и прекрасные, и много хлама людского – до сих пор продолжают жить так, точно никакого Ака никогда не было и никто никогда не поднимал великого вопроса о праве на жизнь.

1919 год

Иван Бунин

ОКАЯННЫЕ ДНИ

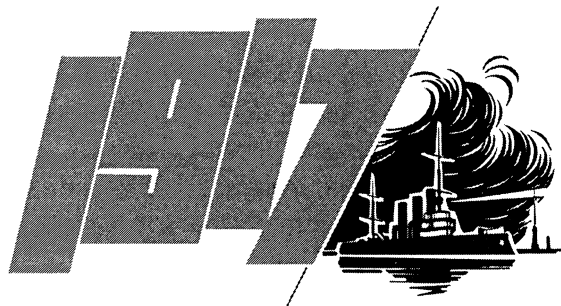
Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничный вид.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу:

– Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!

Я постоял, поглядел – и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма несклонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

11 июня 1919 года



Составитель
Любовь Хазан

Григорий КАНОВИЧ

ЮБИЛЕЙ ПОЛКОВНИКА



Уроженец прииска Светлое, что под Якутском, Анатолий Николаевич Васильев среди золотоискателей, населявших родной посёлок, евреев никогда не видел. Не попадались они ему на пути и в других местах. В классе, где юный Толя Васильев учился, кроме русских и якутов, как он рассказывал своему сослуживцу дяде Шмуде – единственному источнику всех скудных и отрывочных сведений о нашем новом соседе – были два бурята и один украинец по фамилии или по прозвищу Вернизуб. Первый раз живого еврея молодой Анатолий Николаевич увидел в Ленинграде, когда в конце последнего учебного года побывал с группой курсантов высшего артиллерийского училища в филармонии на концерте Давида Ойстраха. Васильев не запомнил, какие произведения

тот с удивительной легкостью и блеском исполнял, но фамилия знаменитого скрипача глубоко запала ему в память.

– Ой, страх, ой, страх, – со смешком повторял он после концерта, разделив фамилию на две составные части. – Может, на свете еще есть какой-нибудь гражданин с фамилией Ойужас?

– Такие чудные фамилии – только у евреев, – коротко и ясно объяснил Васильеву его товарищ Микола Олейник – отличник боевой и политической подготовки, чей портрет украшал доску почёта училища. – У нас в Полтаве был доктор по фамилии Каценельбоген. Ни один коренной полтавчанин не мог без ошибки выговорить её. Кто с первого раза выговорит, тому приз – так шутили его пациенты.

По правде говоря, Васильев больше интересовался вопросами ведения боя в условиях густонаселенной местности, чем евреями, налегая на изучение мирового опыта и окончил училище с отличием, но артиллеристом не стал. Как втиевато выражался дядя Шмуде, родина поручила ему не командование орудийными расчётами, а направила его на более важный участок – туда, где успех операции определяется не слаженностью действий пехоты и артиллерии, а решается в тиши кабинетов за непропицаемыми дверьми и за плотно зашторенными окнами.

В Вильнюс он прибыл с первыми частями Красной Армии и, поселившись в начале сорок пятого в нашем дворе, неожиданно попал на отдельно взятый еврейский остров, в повседневную жизнь которого определенное национальное разнообразие вносила разве что старая ворчливая полька пани Катажина Радзинская и оперная певица Гражина, прозванная Кармен с третьего этажа.

Пани Катажина оказалась первым живым существом, с которым заговорил Васильев, почти не вылезавший из молчания, как из отрытого окопа. Услышав её складную польскую речь, он поздоровался с ней по-польски и, извинившись, спросил, не знает ли шановна пани, кому можно было бы предложить в дар оставшуюся от прежнего хозяина библиотеку на польском языке.

Вопрос поверг пани Катажину в изумление – пан полковник говорит по-польски?

– Немного говорю, – поскромничал Васильев. – Там есть очень хорошие книги, – продолжал Анатолий Николаевич. – Мицкевич, Словацкий, Реймонт, Сенкевич, Прус. Хотел их сдать в городскую польскую библиотеку, но, оказывается, немцы её разбомбили. Жалко выбрасывать. Ума не приложу, куда их девать. Мой старший сын Игорь хоть и родился в Варшаве и чуть-чуть понимает по-польски, но, к сожалению, не читает.

– Родился в Варшаве? – изумление сменилось на лице пани Катажины почтительным испугом.

– Да.

– Пан...

– Анатолий, – пришел ей на помощь новый сосед.

– Пан Анатолий! Когда мои глаза видели лучше, чем сейчас, я, конечно же, всё читала по-польски, а Мицкевича и Словацкого знала наизусть. – О, Литво, ойчизна моя! Ты естеш, як здоровье, – с чувством продекламировала она с хрипотцой. – Сейчас же, как сказал пророк Иов, день для меня стал тьмою... Но я подумаю, кто мог бы взять у вас книги пана Томашевского... Сам Томашевский если что-то и читал, то только цены в ресторанном меню. Все эти книги собирала и проглатывала Ядвига, жена его...

– Подумайте, подумайте! – У Анатолия Николаевича не было времени выслушивать рассказы о прежних хозяевах, но ему и пани Катажину не хотелось обидеть. – Я бы с удовольствием хранил на своих полках тома Мицкевича и Словацкого, но у меня нет места даже для Тургенева и Толстого...

Васильев уже собирался откланяться, но любопытство пани Катажины заставило его еще на минутку задержаться, хотя он, как всегда, куда-то спешил.

– А пшепрашем, пане полковнику, за pytanie, вы когда в Варшаве работали?

– До войны.

– пшепрашем пане, ежели то не таемница, кем? (Извините, если это не тайна).

– Представителем торговой фирмы по экспорту в Польшу товаров из узбекского хлопка, – сказал о своей работе за границей Васильев и откланялся...

Неожиданная беседа пани Катажины с паном Анатолем вызвала во дворе небывалый интерес. Всем не терпелось узнать, о чём же молчун Васильев толковал со старой и, как некоторые считали, вздорной полькой.

Моя мама, которая по неуголенному любопытству побивала во дворе все мысли-

мые и немыслимые рекорды, захлопнула на своей смотровой вышке кухонное окно и вприпрыжку побежала вниз к пани Катажине, снимавшей с верёвки ещё влажное, пахнущее синькой белье.

– Пани Катажина, это правда? Пан полковник, который обычно молчит, как покойник, оказывается, и говорить умеет? – начала мама с необыкновенной напористостью, пытаясь что-нибудь у неё выудить.

– Представьте, пани Геня, умеет. Еще как умеет... – ответила соседка. – Держитесь за верёвку, чтобы не упасть – сейчас вы от меня такое услышите, чему я сама никогда бы не поверила...

Мама одарила ее недоверчивым взглядом. Какие же сногсшибательные вести можно услышать от домоседки пани Катажины, которая даже на проспект имени генералиссимуса Сталина или на Лукишскую площадь редко выходит – целыми днями напролёт только и делает, что жмет к своим четырем сырým стенам. Да еще услышать какую-нибудь подробность о полковнике Васильеве? Станет он перед каждым встречным и поперечным, как говорят портные, расстегивать все пуговицы...

– Пани Геня, во-первых, мы с паном полковником говорили на чистейшей польщизне.

– А во-вторых? – поторапливала её мама.

– Во-вторых, пан полковник работал до войны в Варшаве. Там у него даже сын родился.

– Работал в Варшаве? Интересно! И кого он там ловил? – шепотом спросила мама.

– А вы, пани Геня, спросите у него самого. Мне он сказал, что представлял в Варшаве товары из узбекского хлопка.

– Прямо-таки представлял? Из узбекского хлопка? – передразнила её мама.

– Пани Геня, вы только на меня не обижайтесь. Вы ведь хорошо знаете: что у меня на душе, то и на языке. Скажу вам прямо и откровенно: из-за этой вашей вечной дурной привычки люди и не любят вас, евреев.

– Из-за какой такой дурной привычки? – насторожилась чуткая к характеристикам евреев мама.

– Вы, евреи, хотите обо всех всё знать...

– Ну? А чем же плохо всё знать? – перешла в наступление пани Геня. – А вы никогда не задумывались, откуда у нас эта, по-вашему, дурная привычка?

– А чего тут задумываться?

– Тогда я вам прямо и откровенно отвечу.

Мама приняла боевую стойку и продолжала:

– Евреи хотят всё знать, чтобы в случае опасности и гонений вовремя занять круговую оборону. Если бы люди всё заранее знали, скажем, о Гитлере, может, не было бы столько крови – ни еврейской, ни польской, ни русской.

Пани Катажина собрала в большой жестяной таз высохшее белье и вдруг выпалила:

– Этот мошенник Томашевский, убегая, оставил всю свою библиотеку, и пан Анатоль дал мне задание – помочь найти... как бы это вам сказать... помещение для осиротевших книг. В нашем дворе по-польски никто не читает... Да из-за глаз и я уже не читательница – с трудом из требника по буковке выклёвываю. Может, вы, пани Геня, или ваш Гиршке знаете такое место. Он же у вас вроде бы сам в писатели метит и что-то уже сочиняет.

– Сочиняет. Как бы только чего-нибудь не насочинял на свою и на нашу голову. Нет, нет, Гиршке тут не поможет. Попробуйте спросить кого-нибудь у вас в костеле. Вдруг настоятель согласится взять эти книги под свою опеку или найдется какой-нибудь прихожанин-книгочей?

– Хорошая мысль, – восторгалась пани Катажина.

После воскресной мессы пани Катажина подошла к настоятелю костёла Петра и Павла отцу Станиславу, объяснила, в чём дело. Ксендз похвалил её за угодное Богу намерение уберечь великие плоды польского разума, но от дара отказался, сославшись на то, что он уже слишком стар,

чтобы пополнять свои книжные запасы и перечитывать то, чем он восторгался в молодости. Правда, отец Станислав, как и подобает пастырю, подсказал пани Катажине выход – предложить библиотеку беглого пана Томашевского какой-нибудь деревенской читальне в Виленском округе или городской польской гимназии.

Обрадованная пани Катажина вернулась домой и стала буквально выслеживать пана полковника. И хоть Васильевы жили этажом выше, ей никак не удавалось поймать пана Анатоля.

– Ойца, Игорь, в Вильне ниема? (Отца в городе нет?) – остановила она на лестничной площадке Васильева-младшего.

– Ниема, – по-польски ответил Игорь, удивившись, откуда старуха знает его имя.

– Киеды бендзе? (Когда будет?)

– Не вием (не знаю), – ответил тот.

Больше спрашивать некого было. Жена пана полковника Лида работала в верхах, в Центральном комитете партии, где и воздух чище, и продукты в столовой дешевле, и жалованье выше – была инструктором отдела агитации и пропаганды. Мелочными дворовыми дружбами и обывательскими пересудами она пренебрегала, на работу уходила ранним утром и возвращалась поздним вечером. Васильева очень гордилась своим служебным положением и строго следила за своим внешним видом – часто меняла наряды, причёски, туфли, брошки. Никто из соседей не видел её в очереди за хлебом или с битком набитой «авоськой» – всё привозил на вишневого цвета «Победе» шофёр Анатолия Николаевича, высокий хмурый парень в гимнастерке без всяких знаков отличия.

Дни шли, и пани Катажина уже почти не надеялась похвастаться перед Васильевым (а он очень нравился ей как мужчина) тем, что его задание она выполнила. Но пан Анатоль, наверно, забыл, о чём он её просил... Есть у него, конечно, более важные дела, чем Мицкевич и Словацкий, которые если уж безропотно столько времени на полках дожидались своей участи, то подождут еще немножко.

– Ну, что сказал Ваш исповедник? – поинтересовалась мама.

– Дал совет, куда везти... В сельскую читальню или в городскую гимназию... Но я что-то давненько не вижу пана полковника... Может, ваш брат что-нибудь о нём знает?

– Никуда пан полковник не денется. Полковники просто так не пропадают. Еще день, еще два, и объявится. А брата спросить можно, – утешила её мама.

Дядя Шмуле, которого Васильев называл не иначе, как Самуил Семёнович, а язва Нисон Кацман сокращенно и обидно – ЭСЭС, распространяться не стал, только бросил:

– Это, Хенке, государственная тайна. О том, куда и зачем едут такие люди, как товарищ Васильев, никто, кроме его прямого начальства, знать не должен. Даже его законная жена.

– Даже жена?

– А ты что удивляешься? Возьмет и изменит. Изменит и расскажет, кому не следует. Расскажет и всё сорвёт...

– Что сорвёт?

– План операции сорвёт. Потом дело не исправишь, – дядя Шмуле извлёк из кармана портсигар, достал папиросу, долго разминал её, чиркнул спичкой и глубоко затянулся. – Может, Васильева в Москву вызвали, а, может, он находится при исполнении своих служебных обязанностей где-нибудь в другом месте. Маршруты таких ответственных работников не афишируются. Он же не любимец публики – не народный артист Леонид Утёсов.

Сам Шмуле в ту пору еще тоже находился при исполнении своих служебных обязанностей. Мама очень боялась, что и его могут послать куда-нибудь в Жемайтию или в Дзукию, в лесистую местность, в которой ни на один день не утихает стрельба, и местечки переходят из рук в руки – то к повстанцам, то к частям регулярной армии. Слава Богу, туда его не посылали, он работал в центральном аппарате в Вильнюсе и предположить не мог, что, когда его уволят из органов, снова, как в далекой моло-

дости, будет вынужден взяться за иголку и портновские ножницы.

– Иголка – не пуля. Никого не убьет, – поучал его отец.

– Власти меняются, но при всех властях приходится что-то латать, перелицовывать... – моему родителю вторил его манерный и жёлчный друг Нисон Кацман. – Надо, Шмуде, шить, а не вмешиваться в чужие драки. В чужой драке еврей рискует получить в морду с обеих сторон.

Дядя Шмуде упрямо защищал себя, полковника Васильева и регулярные войска, борющиеся против буржуазных националистов – тех, кто в войну расстреливал евреев.

– Не валите всех в кучу. Кто, Шмуде, и вправду расстреливал, а кто не расстреливал, но ушёл в лес из патриотических соображений, решив потягаться силами с новыми хозяевами и вернуть прошлое, – доказывал Нисон Кацман. – А вернуть прошлое – это все равно, что посадить на цепь ветер.

Мама прислушивалась к их спору, не забывая о том, кто из них прав, а кто неправ, и мысли её, как ни странно, крутились вокруг полковника Васильева. У него, наверно, где-то в золотоносной Якутии, вдали от Литвы, от её лесов и городков, переходящих из рук в руки, живут его родители, и, может, ещё престарелые дедушка и бабушка, которые каждое утро от сына и внуков ждут писем с таким же нетерпением, как когда-то на прииске в Светлом ждали солдатских треугольничков с фронта. А ведь Толя, их единственный Толя, тоже вроде бы на фронте, хотя немцы уже два года тому назад подняли вверх руки: «Гитлер, капут!». Будь этот Васильев её сын, думала мама, она заставила бы его вернуться назад в Россию – пусть, мол, эти литовцы сами разбираются, какая власть им больше по душе – та или эта, ведь, неровен час, из Вильнюса еще может и похоронка прийти. Брат Шмуде дважды чуть не поплатился за свою службу, когда ночью его подстерегли в тёмной подворотне и пытались застрелить. Один раз пуля

пролетела над самой его головой, а во второй раз угодила в ногу – он и сейчас еще немного прихрамывает. Пани Геня вдруг с каким-то покалывающим душу чувством сожаления вспомнила свое родное местечко Йонаву – его одноэтажные домики, узкие дворики без тёмных простреливаемых подворотен, окрестные рощи и грибные леса, где вековую, замшелую тишину нарушали не автоматные выстрелы, а только торжественные переключки птиц. Это был тот мир, в котором она росла и который казался ей незыблемым и вечным. В том еще не охромевшем, твёрдо стоявшем на ногах мире мужья в потёртых гимнастёрках не возвращались после ранений из военных госпиталей, сыновья портных не метили в русские писатели, там не было ни пани Катажины, ни полковника Васильева.

Мама понимала, что Господу Богу, как кучеру, не прикажешь: «Поверни свой возок назад!». Но от этого понимания лицо её не только не светлело, но еще больше омрачалось.

– Скажи, Шмуде, а ведь и Васильева тоже могут того... подстрелить? – спросила она у брата, который нет-нет да заходил к нам, чтобы попробовать её кулинарные новинки и оттачивать на сестре свои затупившиеся идеологические стрелы.

– Подстрелить могут каждого, – попытался всё превратить в шутку мой дядя.

– Не валяй дурака. Не про каждого речь.

– Мне сдается, что ты, Хенке, переживаешь за Васильева больше, чем его жена Лида. Он тебе ни сват и ни брат. Поживёт в нашем дворе годик-другой и скажет «Адьо, товарищи евреи!» Поверь, таких работников, как он, на одном месте долго не держат, – переведут для укрепления кадров в Латвию или еще куда-нибудь, а то, глядишь, отзовут в центр на высокую должность. Чего за него переживать?

– Я за всех переживаю... Меня, видно, такой родители смастерили... Разве тот, кто за всех переживает, когда-нибудь возьмет в руки оружие и выстрелит в другого человека?

– Возьмет, не возьмет, тебе-то какое дело! Меси себе спокойно своё тесто на кухне, пеки свои пироги с изюмом, фаршируй на субботу карпа и постреливай колючими словечками в самое темечко своего муженька. А за Васильева пусть переживает его Лида.

Мама хотела возразить брату, что жена Васильева – Лида, которая ухитряется даже во дворе проводить свою агитацию и пропаганду, больше переживает за политическую сознательность жильцов, чем за своих домочадцев, но вдруг услышала снизу голос пани Катажины:

– Пани Геня, это у вас рыба пригорела?

– Это не у меня, – перевесившись через окно, сверху ответила мама.

– Я не слышу.

– Ничего у меня не горит. И вообще ни у кого не горит, – напрягла голосовые связки мама. – Вы же знаете, что рыбу я никогда не жарю.

Пани Катажина прекрасно знала, что мама рыбу никогда не жарит, а только отваривает. Но хитроумная полька, как всегда, старалась использовать любую зацепку, чтобы вытащить пани Геню из дому, затеять с ней разговор, пожаловаться на свои болячки или поделиться какой-нибудь новостью, добытой главным образом под сводами костёла Петра и Павла. На этот раз новость не стоила того, чтобы из-за неё выключать примус и спускаться во двор, – исповедник пани Катажины отец Станислав посоветовал передать библиотеке беглеца – пана Томашевского в дар Виленской польской гимназии, директором которой является его, ксендза, родной брат Ярослав. К Ярославу и надо обратиться. Было бы, конечно, ужасно, если бы Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий оказались на мусорной свалке вместе с пустыми бутылками из-под пива, картофельной шелухой и кошачьими деликатесами – мясными или рыбными объедками.

Пани Катажине очень хотелось чем-то выделиться среди жильцов, и лучшего повода, чем передача библиотеки Томашевского польской гимназии, невозможно

было и придумать. Она не сомневалась, что пан директор Ярослав не отмахнется от рекомендации своего брата – ксендза Станислава и примет под свою кровлю эти беспризорные книги, но Васильев словно сквозь землю провалился.

– Может, вашему брату Шмуде известно, когда приедет пан полковник? – при каждой встрече допытывалась она у моей мамы.

– Появится, появится, – успокаивала её пани Геня. – Это мы люди свободные, а пан полковник не какой-нибудь портной-надомник. Ему приходится колесить по Литве. Не волнуйтесь – через денёк-другой он приедет.

– Книг жалко.

– А что с ними станет? Книги не киснут. Столько пролежали на полке, полежат еще недельку.

– А если пани Лида, не дождавшись пана полковника, возьмет и выкинет вон Мицкевича и Словацкого, а на их место поставит книги своих?

– Кого – своих?

– Ну, ту четверку, что в праздники на знаменах красуется и висит над центральным входом в универмаг... Их портреты, как хоругви, на первомайских демонстрациях всегда несут по проспекту аж до Кафедральной площади, – выпалила пани Катажина. – Кроме Ленина и Сталина, я двух других, пани Геня, по фамилиям не знаю... Они вроде бы тоже писатели... Один из них, я слышала, то ли двадцать книг написал, то ли тридцать... Он, по моему, еврей...

– Маркс, – сказала моя бесстрашная мама.

– Наверно, – промолвила пани Катажина.

Командировка пана полковника затягивалась, и пани Катажина всерьез опасалась, что у Васильева уже вылетели из головы не только Адам Мицкевич вместе с Юлиушем Словацким, но и она сама.

– Забот у человека полон рот, он неделями не бывает дома, ночует в гостиницах, ради дела не спит со своей супругой, как

положено нормальному мужчине, – сказала моя мама, когда пани Катажина пожаловалась на его забывчивость. – Ему только посочувствовать можно. Но я верю, что пан полковник не забыл про книги, хотя для него, как для моего братца Шмуле, самый главный поляк – Дзержинский, а не эти... как их там? Я ж не учёная... гимназии не кончала.

– Мицкевич и Словацкий!

– Вот-вот! Если послушать моего братца, то его сослуживцы ничего не забывают ни на работе, ни в отпуске. Они всё помнят. Может, помнят даже то, что вы когда-то были одноклассницей маршалека Пилсудского.

– Неужели? – испугалась та.

– Работа у них такая – знать всё, что было, и знать всё, чего не было, но может случиться...

– А что может случиться? То, что есть сегодня, то, наверно, будет и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра...

– Это вы так думаете. А они там, на проспекте, думают иначе. Вдруг кто-нибудь замышляет что-то дурное, и завтра на свете будет совсем иначе, чем сегодня.

Ничего дурного пани Катажина никогда не замышляла, и Бог постоянно награждал её за чистоту помыслов.

Не прошло и недели, как пани Катажина на деле убедилась в том, что брат пани Гени говорит чистую правду – сослуживцы её братца ничего не забывают. Вернувшийся из командировки Васильев перед тем, как подняться к себе, постучался в логово соседки, и пани Катажина, запинаясь от неожиданности и волнения, поведала ему всё про отца Станислава и его брата Ярослава – директора польской гимназии.

Пан полковник поблагодарил шановну пани за старания, восхитив её в очередной раз своей отменной польской речью, и пообещал утром прислать за ней и за книгами свою служебную «Победу».

В тот же день автомобиль вкатил во двор, и хмурый шофёр с вечно заспанным лицом принялся выносить из квартиры

своего начальника объемистые тома в кожаном переплёте и грузить их в салон и багажник.

– Товарищ полковник просил, чтобы и вы со мной поехали. Так будет вернее.

– С превеликим удовольствием. Но в таком виде? Нет, нет, я должна переодеться.

Никогда жильцы нашего двора не видели пани Катажину такой нарядной, как в тот день – элегантная шляпка, кашемировое платье, лакированные туфли. Но их удивление еще больше возросло, когда Васильев назавтра одарил соседку букетом нежно-розовых гвоздик.

– Дзиенкуе (спасибо), пане полковнику, – смутилась пани Катажина, которой четверть века с лишним мужчины не дарили цветы и которая уже не чаяла их когда-нибудь от них получить.

– То я пание дзенкуе, – сказал Анатолий Николаевич, впервые удостоивший благодарности представителя дворового населения.

Соседи Васильева – евреи, как это повелось испокон веков, не ждали от Анатолия Николаевича ни цветов, ни благодарности. От полковников, а Анатолий Николаевич не был исключением, они благоразумно предпочитали держаться на расстоянии, не стремясь их ни задобрить, ни возмущать, одинаково опасаясь их милости и их гнева. Это пани Катажине нечего было опасаться – её могли упечь в холодную только за гнилую и зябкую старость, а старость и есть ничто иное, как тюрьма, в одиночную камеру которой надзиратель – Господь Бог если и входит с цветами, то только с могильными.

Пани Катажина выставила подаренные гвоздики для всеобщего обозрения в глиняном кувшине на подоконнике, но судьбе было угодно, чтобы эти нежно-розовые цветы с нераспустившимися, застенчивыми лепестками и впрямь стали для старой польки могильными – последними в её жизни. Через полгода пани Катажина умерла от рака лёгких и была тайно похоронена рядом с неистовым ненавистником большевиков – маршалом

Юзефом Пилсудским, её бывшим однокашником.

После смерти пани Катажины в нашем дворе была провозглашена еврейская республика, идиш в нём объявили государственным языком, а семья полковника Васильева и певица Гражина Руткуте попали в разряд отчужденного нацменьшинства. По-русски сносно говорил только мой дядя Шмуде, обогативший свой словарь в Москве, а остальные его соплеменники пользовались воляпюком, привезенным из странноприимной Средней Азии.

Чтобы не усугублять отчужденность жильцов друг от друга и чтобы она не переросла в замаскированную улыбками враждебность, между евреями и нацменьшинством нужен был связник, и эту непростую роль добровольно взял на себя мой находчивый дядя Шмуде. С одной стороны, он по мере своих возможностей заочно знакомил своего сослуживца – полковника Васильева с каждым жильцом: этот, мол, – замечательный портной (имелся ввиду мой отец), этот – первоклассный краснодеревщик (на сработанной им двуспальной кровати почивал бывший президент Литвы Сметона с супругой Зосей), этот – лихач-таксист (за два часа домчит любого пассажира до Минска), а этот – мужской парикмахер, который чудом спасся в Дахау и, несмотря на покалеченную в лагере руку, стрижет и бреет, как лучшие мастера в Париже; этот – умелец-маляр (в два счёта перекрасит вам темную ночь в ясный день); этот – укладчик паркета с многолетним стажем (на загляденье настелет полы в квартире), а этот – интеллигент-бухгалтер (честнее самого Бога, сидит в государственном банке и подсчитывает чужие денежки). С другой стороны, Шмуде убеждал жильцов, что Анатолий Николаевич кому-кому, а им никакого зла не желает. Если он и сторонится их, не вступает с ними в разговоры, то не потому, что они евреи, а потому, что он от природы человек замкнутый, необщительный и что у него настоящий сибир-

ский характер, Васильев даже с женой и с детьми такой – ни одного лишнего слова.

– Самуил Семенович! А я, по правде говоря, думал, что среди евреев – все доктора и скрипачи... У нас в санитарном отделе – Добровицкий, Зак, Нудельман, а на сцене Ойстрах, Коган... Каюсь, просто не ожидал, что столько у вас ремесленников и мастеровых... – не постеснялся признаться Васильев.

– Всякие среди нас водятся, Анатолий Николаевич. Каждый народ, как река, разные рыбы в ней плавают, – мягко поучал Васильева Шмуде. – Если кто-нибудь из них вам понадобится, только скажите... Будет вам и маляр, и паркетчик, и портной, и парикмахер на углу проспекта Сталина и Татарской.

– Надеюсь, сразу все вместе нам не понадобятся, – усмехнулся полковник. – Возможно, по отдельности – да. Лида мне про ремонт уже уши прожужжала, да и старый паркет в гостиной весь покоровился...

– Может, вам начать с портного, – ковал железо, пока горячо, Самуил Семёнович. – У меня для вас, товарищ полковник, есть замечательный мастер. За ним далеко ходить не надо. Он в подъезде напротив вас живёт. Это мой шурин. Он когда-то самого командующего Белорусским фронтом – маршала Рокоссовского обшивал. К празднику Победы парадный мундир ему в Пруссии сшил. В этом мундире он и проскакал с Жуковым на белом коне по Красной площади.

– Да что вы?! – воскликнул Васильев.

– Чтоб я так жил, – на еврейский манер ответил Шмуде.

– Верю, верю, но мы-то с вами, Самуил Семенович, мундиров не носим... И по площадям в праздники на рысках не скачем. Сами, по-моему, понимаете, почему.

– Мой шурин сошьет вам такой штатский костюм, какой вам никто ни в каком швейном ателье не сошьёт.

– Стоит ли? – по вечной мерзлоте монголоидного лица Анатолия Николаевича вдруг скользнула случайная, тёплая улыбка.

ка. – В высшем свете не бываю, в филармонию, как в молодости, не хожу, жене пока нравлюсь в любой одежде.

– Стоит, стоит, – не унимался настойчивый Шмуде.

Васильев снова улыбнулся, смахнул со лба густую, тронутую сединой прядь и после некоторого раздумья, то ли согласившись, то ли обрывая разговор, сказал:

– Разве что к предстоящему юбилею...

– Октябрьской революции? Но до юбилея Октябрьской революции еще времени предостаточно.

– Не к юбилею революции, а к моему собственному. Он уже не за горами. Шутки шутками, но скоро шестой десяток разменяю. Из Якутска в Вильнюс собирается приехать целая делегация – мои родители, младший брат Тимофей с женой Клавой. Лидина родня. О таком крае, как Литва, они там, в своей алмазно-золотой глубинке, наверно, раньше и слыхом не слыхали... Может, на самом деле стоит в честь этой кругленькой даты обновкой перед ними щегольнуть...

– Почему бы нет, – поддержал его Самуил Семёнович и вдруг в какой-то короткий и щемящий миг на него откуда-то из глубин подсознания нахлынули завистливые и печальные воспоминания о своих собственных родителях. Они к нему, к своему Шмулиньке, уже никогда в Вильнюс не придут – ни на свадьбу дочери, ни на его пятидесятилетний юбилей. К счастью, к горькому и страшному счастью, они не погибли от рук соседей, которым отец Шимен тачал сапоги и подбивал подметки, а умерли в своей постели и навеки остались в Йонаве. Никто для потехи перед расстрелом не опалил горячей головешкой рыжую и пушистую бороду отца, никто не раздел донага богобоязненную мать.

Воспоминания на время отдалили его от Васильева, перекинули туда, где под стук отцовского молотка он встречал каждое утро, и этот стук был такой же приметой жизни, радостной и бесконечной, как восход солнца или пенье птиц.

– Что-то вы, Самуил Семёнович, загрустили, – от бдительных глаз полковника не ускользнула перемена в настроении собеседника.

– Вспомнил своих рано умерших родителей, – отрапортовал тот. – Когда-то мне наивно казалось, что мы должны умереть вместе. Но в очереди за смертью местами не меняются. Ладно, больше не будем о грустных вещах... Вернемся к моему шурину. Если вы разрешите, я поговорю с ним...

– Поговорить можно, но никаких обязательств я на себя не беру, – предупредил Самуила Семёновича полковник. – Столько лет проходил в одном и том же, еще столько пройду, если судьба-злодейка подножку не подставит.

– Не люблю шить военным. Они привыкли к мундирам, кителям, галифе, – выслушав подробный рапорт Шмуде, сказал мой отец. – Гражданская одежда всегда висит на них раздутым, только что опорожненным мешком... все они держат, как перед начальством, руки по швам... С такими заказчиками только намучаешься.

– Но он же не военный. У Васильева просто чин полковничий. На такого приятно шить – фигура хорошая, плечи широкие, он не сутулится, не хромает, не горбится... – Мой дядя продолжал с нажимом перечислять внешние достоинства нашего соседа.

– А в артели он себе сшить не хочет? – упрямылся шурин. – У них, кажется, есть и своя артель на углу Виленской и Доминиканской, где все мастера и даже уборщица проверены...

– А ты, что, не проверенный? Ты, что, американский шпион? Буржуазный националист? К Васильеву из Якутска приезжают на юбилей его родичи. Увидят твою работу, восхитятся и славу о тебе разнесут по всей Сибири. – В своём красноречии мой дядя был неудержим, слова вылетали у него изо рта роями.

– Не знаю, не знаю... – отнекивался отец.

Чтобы уломать его, мой дядя решил прибегнуть к самому сильному средству – задействовать сестру.

– А ты, Хенке, что на этот счёт думаешь?
– Что я думаю? Я думаю, что мой муженёк просто боится.

– Боится? Чего? Кого? – осыпал её вопросами брат.

– Боится, что его посадят, – хихикнула она. – Нисон Кацман, наш домашний предсказатель, говорит, что скоро настанет день, когда начнут преследовать и сажать всех евреев...

– Так-таки всех? А портных, позвольте спросить, за что? Он не сказал?

– Наверно, за то, что пришивают к пиджакам не те пуговицы, зашивают карманы или намеренно против воли заказчиков укорачивают на пять сантиметров их брюки.

– Что вы тут, Хенке, мелете?

– А ты чего так упрямисься? Тебе ведь работу предлагают, а не четыре года заключения в тюрьму строгого режима...

– Хенке очень хотелось, чтобы её старый мерин не артачился, принял заказ и чтобы она, присутствуя на примерках, пригляделась бы к Васильеву и попыталась понять, что он за человек. Маму всегда неотразимо влекло ко всему таинственному и загадочному. Для неё всё вокруг было тайной – начиная с перебирающей тонкими ножками по оконному стеклу мух и кончая ею самой. Но самой непостижимой тайной для неё всегда оставались не деревья с их шелестом, не птицы с их щебетом, не синее небо и солнце над головой, а люди.

Под напором объединенных сил Дудаков отец капитулировал:

– Пусть приходит.

Перед приходом Васильева мама совершила настоящий переворот дома – вымыла полы и окна, вытерла пыль, перевешала на стенах фотографии, переставила стулья, поменяла на столе скатерть, накрыла новым покрывалом диван.

– Смотри, дух из себя не вышиби, – корил её отец. – Ведь не Сталин же к нам придет.

– Иду с тобой в пари, что полковник никогда не был в еврейском доме.

– Ну и что, что не был? Может, прикажешь его еще народной песней встретить? – отец вдруг понизил голос и спросил:

– Ты хоть знаешь, чем он занимается?

– Знаю.

– А что бы ты сказала, если бы он не лесных братьев ловил, а евреев?..

Маму не смутил его вопрос. Но она решила на него не отвечать. Да и что тут ответишь? Что евреи никого не убивали? Что им не с кем ни в лесах, ни в городах бороться за свою власть, ибо своей власти у них все равно никогда не будет? Что придётся жить и тянуть своё воловье ярмо при любом чужом правлении, терпеть, не лезть на рожон и не рваться в бой за чужое счастье, пока собственного не обретешь?

В доме со дня на день ждали прихода Анатолия Николаевича, но его, видно, снова ушли в длительную командировку – в провинцию, поближе к сражающимся лесам.

Когда отцу уже казалось, что Васильев решил к своему круглому юбилею сшить себе новый костюм не у него на дому, а в проверенном ателье на углу Виленской и Доминиканской, полковник появился во дворе и вместе со своим рекоммендателем Самуилом Семёновичем в первый же выходной позвонил к нам в дверь.

Мама открыла им и молча провела по коридору, заваленному всякой рухлядью, в идеально убранную столовую; отец бодро, по-солдатски встал из-за взмыленного «Зингера» и беззвучно поздоровался с будущим заказчиком.

– Знакомьтесь, – сказал посредник Шмуле. – Анатолий Николаевич Васильев.

Мои родители и без всякого церемонного представления знали, что за гость к ним пожаловал, но моему дяде Шмуле очень хотелось еще раз подчеркнуть свою несомненную заслугу в их знакомстве и сближении.

– А это – маг и волшебник иголки Соломон Давидович, а это моя старшая сестра – Евгения Семёновна.

Отец подтвердил слова шурина скромным, чуть заметным кивком, он стоял, не двигаясь, как когда-то в сорок первом на плацу перед отправкой из Балахны на фронт, на Курскую дугу, в самое пекло, а мама, которая никогда не была равнодушна к статным и красивым заказчикам, вымученно, но не без налёта женского кокетства улыбалась загадочному полковнику.

– Материал отличный. Такой в обычном магазине не купишь, – нахваливал отрез Самуил Семёнович, желая разрядить повисшее облаком беспричинное напряжение и давая знак Васильеву показать свою покупку и приступить к переговорам.

– Посмотрим, посмотрим, что за материал, – пропел отец, у которого и капли сомнения не было, что высокие чины министерства безопасности в обычные магазины и не заглядывают.

Анатолий Николаевич вынул из свертка отрез и разложил его на чистой скатерти.

Соломон Давидович сначала посмотрел на отрез издали, потом чинным шагом приблизился к столу и стал его осторожно и ласково гладить чуткой рукой, как гладят живое существо – любимую кошку или преданную собаку.

– Шерсть... Английская шерсть. Большая редкость, – с какой-то восторженной печалью промолвил мой отец. Да и как было не печалиться, если отец был уверен, что с открытой продажей заграничными тканями в Литве давно и бесповоротно покончено. Если их и можно где-то приобрести, то только в спецраспределителях.

– Сними же мерку, – поторопил его Шмуле, а мама, как бы будя своего старого мерина от спячки, толкнула его локтем в бок.

– Сейчас, сейчас, – для вящей убедительности отец каждое свое слово дублировал. – И мерку снимем, и о фасоне поговорим. Но я хотел бы товарищу полковнику прямо сказать, что в ателье пошив обошёлся бы ему дешевле... намного дешевле.

У мамы от ужаса глаза расширились. Такой убыточной для дома отваги, гранича-

щей с наглостью, она от своего благоверного не ожидала. Он что – совсем чокнулся? Кто из дамских или мужских портных, у которых в городе известное имя – Нисон Кацман, Арье Вайнштейн, Гилель Краснопольский – гонит своих клиентов в ателье?

Застыл и речистый дядя Шмуле.

– Пусть вас материальные вопросы не волнуют. На пошив костюма моего жалованья вполне хватит. Надеюсь, мы с вами все финансовые дела уладим, – сказал Васильев и засмеялся.

Нервно засмеялась и мама.

Только дяде Шмуле было не до смеха. Со смешанным чувством благодарности и страха смотрел он на Анатолия Николаевича, который, по счастью, не обиделся, не повернулся и не хлопнул дверью.

Соломон Давидович и сам догадался, что допустил досадный промах, и больше о цене не заикался – снял с полковника мерку, и мама под его диктовку, как прилежная школьница, аккуратно записала все данные в блокнот.

– Шмуле... – отец поперхнулся и поправил себя. – Самуил Семёнович скажет, товарищ полковник, когда вам прийти на первую примерку. Если вы не будете в отъезде.

– Постараюсь приходить вовремя, хотя ручаться не могу. Служба есть служба. Через неделю-две собираюсь в юбилейный отпуск уйти, тогда мои поездки на месяц кончатся, и я стану домоседом.

Анатолий Николаевич протянул отцу руку и сказал:

– Семён Самуилович очень много хорошего о вас рассказал. Было очень приятно познакомиться

– И нам было приятно, – в ответ выдавил отец, ломая голову, что же хорошего мог рассказать о нём Шмуле, если не проходит и дня, чтобы они из-за чего-нибудь не поцапались. Какой портной на свете бросает своё ремесло ради слежки за людьми и уживания доносов?

На первую примерку Васильев пришёл в срок.

В отличие от других клиентов, которые все время ёрзали, вертелись, пританцовывали, раздражая отца своей суетливостью, Анатолий Николаевич стоял перед ним в струнку, безупречно выполнял все просьбы, замечаний никаких не делал и не задавал вопросов, не имеющих отношения ни к жизни, ни к шитью.

Отец отвечал ему полной взаимностью, молчал, что-то чертил мелком, обмерял сантиметром и пытался представить, каков товарищ полковник на своей работе, на допросах с теми, кого Шмуле называл врагами народа. Неужели такой же смиренный и податливый, как сейчас? Или другой – яростный и неумолимый?

Иногда в комнату из кухни входила мама, которая краем глаза надзирала за поведением своего спутника жизни и, довольная, возвращалась обратно.

Работа над костюмом постепенно приближалась к концу. Анатолий Николаевич в нашем длинном, почти до половиц, не обманчивом зеркале уже видел себя в новом наряде и, помолодевший, видно, нравился себе, хотя моему требовательному и придирчивому к каждой мелочи отцу хотелось еще что-то улучшить – там, дескать, чуть-чуть корчит, тут морщит.

Перед последней примеркой Васильев уехал на совещание в Клайпеду и оттуда позвонил домой своей Лиде, чтобы та перед Соломоном Давидовичем извинилась за его вынужденную задержку. Когда отец после ранения работал в интендантской части Седьмой пехотной дивизии, полковники на него только покрикивали да матом ругались, но чтобы полковник принес свои извинения рядовому, этого на его памяти никогда не было.

Сдача костюма превратилась в небольшое торжество, на котором кроме мастера и заказчика присутствовали их жены и, конечно же, мой дядя Шмуле, инициатор и застрельщик всех благородных дел, не требующих лично от него никакого труда.

– Ты в новом костюме, Толя, похож на Кадочникова, – похвалила строгая Лида

мужа. – Ей Богу, очень похож, особенно анфас.

Хотя никто из моих домочадцев Кадочникова в глаза не видел, все охотно кивнули. Ведь своевременный наклон головы в знак согласия еще никому в жизни вреда не причинил.

Мама предложила выпить по рюмке молдавского коньяка и отведать её пирог с изюмом и корицей, но высокие гости вежливо отказались. Мол, в другой раз, когда Соломон Давидович сошьет Анатолию Николаевичу зимнее пальто. Хоть зимы в Литве не такие суровые, как в Якутске, но все равно метельно и холодновато.

– Может, мне и не удастся в вашем костюме проскакать на белом коне по Красной площади, как маршалу Рокоссовскому, но мимо мавзолея мы по ней с Лидой обязательно летом пройдемся, – пошутил Васильев, отозвал отца в сторону и расплатился.

С тех пор отношения между Васильевым и остальными жильцами заметно потеплели. Он им уже не казался таким неприступным и спесивым, как прежде, а ему дворовые евреи вроде бы пришлись по душе – люди как люди, трудолюбивые, мастеровитые, услужливые, хоть еще и не совсем советские.

Дядя Шмуле, вдохновленный удачей, ревностно продолжал свою посредническую деятельность; при его активном содействии маленький и юркий, как воробышек, маляр Иегуда Левин к юбилею Анатолия Николаевича сделал в его четырехкомнатной квартире капитальную побелку – соскрёб и замазал со стен всё, что оставалось от прежнего хозяина – пана Томашевского

– К сожалению, я белю только стены, но не дела, – шепнул он моему отцу, который посоветовал ему для его же пользы заклеить столярным клеем рот.

Понемногу в Вильнюс стали съезжаться родичи полковника. Первыми приехали родители – низенькая, улыбчивая мама в кургузом пальто с крупными, как грибы, пуговицами, в цветастом платке на миниатюрной головке; статный, русоволосый отец в распахнутом плаще-дождевике и в хромовых сапогах с высокими голенища-

ми. Невестка Лида и внук Игорь в отсутствие юбиляра водили их по городу и показывали его достопримечательности. С соседями приезжие не общались, только с интересом присматривались к ним и прислушивались к их незнакомому говору.

Позже прибыли брат Анатолия Николаевича Тимофей и его жена Клава – дородная русская красавица с пронзительными, как бритвенное лезвие, голубыми глазами, тугой длинной косой, царственно спадавшей на её широкие, мужские плечи.

Из советской группировки войск в Германии на юбилей пожаловал лучший друг Васильева по ленинградскому училищу генерал-майор артиллерии Микола Олейник, который недолюбливал евреев и посмеивался над их заковыристыми фамилиями.

Безотказный шофёр полковника возил его гостей и показывал им достопримечательности Вильнюса – вместе с ними поднимался на гору Гедиминаса, посещал знаменитые костёлы Святой Анны и Петра и Павла, ездил с ними в вотчину великих литовских князей – Тракай, славящийся своими замками и озерами. По пути он успевал по составленному Лидой списку закупать в спецраспределителе все яства к юбилейному столу.

Готовился к празднованию юбилея и мой дядя Шмуле. Не получив на то никаких полномочий, он собирался от имени всех евреев двора поздравить именитого соседа с пятидесятилетием и вручить ему большой букет чайных роз, но, поскольку в цветах не очень-то разбирался, попросил мою маму сходить на Калварийский базар и на его деньги купить их у торговцев из братской Грузии.

– Может, сойдет что-нибудь более скромное, чем чайные розы, – сказала сестра. – Например, астры.

– Астры, кажется, приносят только на похороны, – возмутился брат.

– Глупости! Лучше скажи, когда их купить – завтра, послезавтра. Когда у него юбилей?

– Послезавтра, в воскресенье. С самого утра и поздравим.

Мама сходила на Калварийский базар, купила букет чайных роз, налила полную ванну воды и бережно, по одному цветочку, уложила туда букет, чтобы до воскресенья он не завял. Розы, колыхаясь, медленно плавали, между покрытыми эмалью железными берегами, как живые существа с чешуёй и жабрами.

Поздравления были приготовлены, розы распускались в воде, но для начала торжеств не хватало главного – их виновника, который снова где-то мыкался в мятежной провинции – не то в лесистой Дзукии, не то в непреклонной Жемайтии.

Васильев сам никогда точно не знал, когда приедет обратно. Не знали об этом и его близкие – Лида и сыновья, которые давно привыкли к его задержкам и которых он приучил сохранять спокойствие в любых обстоятельствах. Недаром полковник каждый свой маршрут держал в строжайшей тайне даже от них.

Но эта задержка накануне юбилея все-таки встревожила всю родню.

Лида всполошилась, заволновалась, позвонила дежурному в министерство – Васильев строго-настрого запрещал ей это делать, – долго не могла от волнения набрать правильный номер и соединиться с дежурным. Наконец тот снял трубку и на её вопрос о муже ответил, что ему ничего неизвестно и что, если поступят какие-нибудь сведения, он тут же свяжется с ней.

Дома было сумрачно и тихо, и эта тишина была начинена дурными предчувствиями, как тучи грозой – сверкнет молния, загремит гром, и небеса разверзнутся, и затопит всё вокруг.

И небеса разверзлись, и дом затопило слезами.

В ночь с субботы на воскресенье в квартире Васильевых раздался звонок, а вслед за ним покой во дворе взорвал истошный вопль Лиды, похожий на протяжный волчий вой.

– Толя! Толенька! – кричала она, одурманенная горем. – Как же так, родненький, как же так?! Ведь завтра праздник, твой праздник...

Крики её то крепили, то ненадолго утихали, и разбуженные несчастьем соседи не могли сомкнуть глаз – всю ночь в темноту их спален из полковничьих окон струился озябший, колеблемый чужим горем свет.

А утром всё стало ясно.

По дороге в Вильнюс между Меркине и Друскининкай джип, в котором ехала оперативная группа, попал в засаду, и лесовики забросали его гранатами. Погибли все оперативники во главе с полковником Васильевым.

По просьбе семьи официальную церемонию похорон, которые должны были состояться с воинскими почестями на Антокольском кладбище, перенесли с юбилейного воскресенья на будничный понедельник. Гроб с телом убитого Васильева был установлен на Конской улице в клубе работников МВД.

– Как там мои розы? – поинтересовался перед похоронами дядя Шмуле.

– Плавают, – ответила Хенке брату, у которого местечковая расчетливость мирно уживалась с пафосными заявлениями о служении высоким коммунистическим идеалам.

– Плавают? Как плавают? – сердито воззрился на неё Самуил Семёнович.

– Как карпы. В ванне... В воде... Но до понедельника они вряд ли дотянут. Ты на них не особенно рассчитывай. Но не расстраивайся. Я же тебе и раньше говорила, что розы дарят любимым девушкам, а не покойникам.

– Что же делать? Ведь кто-то же из наших, из евреев, должен проводить соседа в последний путь. И не с пустыми руками.

– Вот ты его и проводишь как наш представитель и как сослуживец. Выразишь жене и родителям соболезнование. Постойшь у открытой могилы, послушаешь речи своего начальства и, может, когда гроб под музыку будут опускать в яму, уронишь от нашего имени слезу. На похоронах слёзы ценней и дороже любых цветов. Но у тебя, Шмулиньке, по-моему, никогда лишних слёз и не было. Умри я, ты ведь не заплакал бы.

– Что ты, Хенке, болтаешь? Человека – не муха. Его всегда жалко.

– Жалко. Конечно, жалко. Мог бы в своей Якутии до глубокой старости прожить, если бы добывал золото на родном прииске, а не ловил врагов в чужом краю. Бог велит хозяйничать только у себя дома. Везде умирать страшно, но не бывает страшней смерти, чем на чужбине. Если бы ты знал, как я, когда в ауле заболела малярией, боялась умереть в Казахстане... среди степей. Только шакалы приходили бы на мою могилу. Шакалы и суслики.

Мама помолчала, и лицо её вдруг просквозила печаль, на лбу обозначились морщины, в ту пору прорезанные еще не ножом, а только перочинным ножиком; глаза у неё увлажнились, и она вдруг почти ласково промолвила: – Если ты хочешь на кладбище пойти со своими чайными розами, я сейчас тебе их соберу.

– Пусть плавают. Куплю какие-нибудь цветы прямо у кладбищенских ворот. Деревенские бабки там зарабатывают не хуже, чем грузины на базаре, только они шкуру, как грузины, не дерут.

– Пусть...

Купил ли Шмуле у бабок цветы или нет, никто от него так и не узнал. Но на следующий день во дворе он долго и подробно, со свойственной ему восторженностью, принялся рассказывать, какие роскошные были похороны – горы цветов, толпы народа; перечислял, кто из секретарей ЦК присутствовал на кладбище; цитировал высокие слова министра госбезопасности о покойнике; хвалил солдат, которые по команде своего командира дружно произвели залп. Рассказывал, как мужественно вела себя выплакавшая глаза Лида.

Мама слушала его и думала о несчастных стариках – родителях Васильева, которые не сегодня-завтра уедут со своей неподъемной, кровоточащей ношей обратно в Якутию на свой золотоносный прииск, забыв эти лица, эти речи, эти выстрелы и прокляв навеки эти нерусские леса и эту нерусскую землю.

Дина РУБИНА

БЕРТА



Моя тетя Берта была убийцей.

В юности она забеременела от своего двоюродного брата – красавца, умницы и шалопая, – и когда он посоветовал ей обратиться к Лежбицкому, известному доктору по дамским кручинам (деньги, кстати, твердо обещал), – подстерегла его с банкой серной кислоты и плеснула в лицо. Он страшно закричал, бросился за ней, упал и умер. Вернее, так: умер и упал, – у него было слабое сердце.

Собственно, теткой Берта приходилась не мне, а маме. Так что корректирую временные координаты: дело происходило в начале прошлого века.

Тут важно представить культурное общество и уютную жизнь маленького городка, где разворачивается действие. Почтенное семейство Когановских, мой прадед Пинхус

Эльевич и прабабушка Хая... Они не то чтобы очень богаты были, но все ж кондитерскую фабричку держали. Не бог весть что, работали на предприятии всем семейством, и было кому работать, между прочим: пятеро дочерей, одна в одну. Не шутка! Девочки сидели на завороте, – заворачивали конфеты в фантики: мастерство утомительное, требовательное, все на быстроте пальцев. Виртуозы работали со скоростью конфета в секунду.

– Конфета в секунду?! – недоверчиво спрашивала я бабу.

– Ну, в две, – отвечала та...

Берта была второй по старшинству. Между прочим, она и образование получила неплохое – класса четыре гимназии, кажется. И обладала немалой склонностью к точным наукам – но это так, к слову. А на дореволю-

ционной карточке, что хранилась... господи, ну почему – хранилась? просто, валялась в толстом альбоме, кочевала меж картонными листами в зависимости от пополнения альбома родными нашими лицами, оттесняемая к концу, к самому концу... – так вот, на той старой карточке (почему-то в них, в отличие от фотографий позднейшего времени, всегда присутствует душа мгновения, не правда ли, – незримый отпечаток тихого ангела, что пролетает в минуты, когда ты напрягаешь взор и держишь легкую улыбку в губах, ожидая отмашки фотографа: готово, барышня!? Что улавливали из эфира эти стеклянные пластины в считанные секунды: – одна...две...три...четыре... – когда клиент сосредоточен на том, чтобы не мигнуть, держать спину и выровнять бровь?) – на той, повторяю уже утомленно, картонной, с ажурными краями, постановочной карточке, Берта, недавняя гимназистка, стоит, опершись на невысокую античную колонну: за спиной романтические развалины замка в духе Ватто, на кисть руки намотан ремешок плоской сумочки, блик на ее металлической пряжке сиюминутной своей живостью не дает мне покоя лет уже сорок.

Пухленькая темноглазая девушка, изумительная кожа – это видно даже на картонке цвета слоновой кости. У нее и в старости были гладкие румяные щеки.

С тех пор, как мама под страшным секретом рассказала мне историю этой страсти, я пытливо вглядывалась в девичье лицо на фотографии: пристальные глаза под чуть припухлыми веками, ремешок сумки вокруг изящной кисти, узкий нос туфельки из-под платья... – когда это, когда? До? Или после? До? Или после того, как умер и упал?

Итак, мы вернулись к началу. Он умер и упал на крупный булыжник мостовой, шипя лицом ...

Растрепанную и обезумевшую от икоты Берту притащили в участок прохожие свидетели, и вплоть до суда, почти до родов, она так сидела в кутузке.

Между тем, убитый (как остывает кровь и гаснет свет в этом глухом и тесно сколочен-

ном слове!), – убитый молодой человек приходился прабабушке Хае родным племянником! Любимым сыном ее родного брата. Старшим – там еще было двое сыновей. И прабабушка Хая, – ангел, ангел, нечеловеческой доброты существо! – не в силах снести... да, именно это слово: снести страшной тяжести позора и горя, пошла вешаться в сарай за конфетным цехом.

Конфетный цех и сам по себе был сараем, но побольше и светлее. А в том, что выбрала себе для гибели прабабушка Хая, варили патоку в котлах... Из деревянных ящиков там прорастали и заплетались в узоры запахи цукатов, корицы, ванили, сушеных яблок, вишен и слив... лимонной и апельсиновой цедры...

В юности я довольно явственно представляла те несколько мгновений, в течение которых она успела повисеть... – когда в сарай ворвались родные и вынули бедную из петли. Мое паскудное воображение, спущенное с цепи еще в раннем детстве, рисовало висющую в густых испарениях патоки старуху (прабабушка Хая тогда старухой вовсе не была), ее лицо в испарениях приторного удушья...

Короче, ее вынули из петли.

И самое поразительное для меня в этой истории то, что оба родных брата погибшего явились в суд свидетельствовать против него!

Кажется, я могла бы написать рассказ о том, как эти два мальчика провели ночь перед судом. Старший брат, их кумир и гордость родителей, лежал в могиле, а они должны были публично предать его память, выгораживая злодейку, убийцу, гадину. И они это сделали! – так эти мальчики любили и жалели свою тетю Хаю. Каждый поднялся и произнес роковые слова обличения: да, брат был легкомысленным обманщиком, со-вратителем невинной девицы... И далее, что полагается...

На скамью подсудимых не глядели, только в сторону прабабушки Хаи, сидевшей в углу, в черной шляпке, под густой вуалью.

Ну, а теперь скажите мне: где тот Шекспир и кому он нужен?

Свидетельства братьев произвели на присяжных такое впечатление, что Берту... оправдали.

Правда, потом, когда изредка она приезжала в Золотоношу навестить родителей (а после родов Берта с младенцем тотчас были сплавлены к дальним родственникам в Полтаву), оба этих брата не только не показывались в теткинском доме, но и покидали город на то время, что проклятая убийца отравляла его воздух своим дыханием.

Дальше... дальше семейные воспоминания по линии Берты как-то теряют четкость, расплываются, вихряются в потоках революции и всего того, что за ней последовало – например, экспроприация конфектной фабрики, которая все равно без Берты приходила в упадок: да-да, единственная из всех сестер, она не сидела в заворотчицах, а вела бухгалтерию, все расчеты держа в голове – сколько кому из заказчиков сгружено, от кого получено и кто задолжал. В светлейшей голове под легкомысленными кудряшками с легкостью проворачивались все финансовые операции; горы конфект – блескучие, пестрые, золоченые центнеры конфект пересыпались, шевелились, струились в этой голове...

Но я отвлеклась.

Всем уже было не до Берты, и единственно, что удалось мне выколотить из прерывистой и остатней памяти семьи, что мальчик, дитя страсти и преступления, прожил недолго: в три годика он умер от тифа, хотя Берта берегла его пуще собственных глаз (и уж гораздо пуще глаз его покойного отца), для чего даже устроилась уборщицей в детский дом, куда и определила ребенка, чтобы находиться все время рядом.

Однако не уберегла.

Все остальные дочери, заворотчицы (о, фамильная сноровка в пальцах, о ней – позже!) – Катя, Рахиль, Вера и Маня – разъехались из Золотоноши кто куда, сменив место жительства, и заодно уж отчество; новое время потребовало некоторой смены фасада, и почтенный прадед Пинхус слегка преобразился: Рахиль и Вера переделали его в

Петра, Берта и Маня нарекли отца Павлом (тем самым придав и без того библейскому его облику нечто апостольское). Что же касается старшей, Кати, – та вообще почему-то стала Афанасьевной.

Глубоким стариком, перед самой войной прадед предпринял долгое и обширное по географии путешествие – он навестил всех дочерей. Вернувшись домой, сказал прабабушке Хае:

– Хорошо, что у меня нет шестой дочери. А то, на старости лет я превратился бы в Ивана.

Но – Берта.

Как жаль, что желание различить свои черты в предыдущих коленах родни, приходит в том возрасте, когда валы времени уносят немудимо щепки человеческих жизней. Не нарочно ли это задумано, для того, чтобы каждая новая жизнь прокатывала и прокатывала заново считанные сюжеты судеб; молодость с ее животной жадной сиюминутной жизни, молодость, отмечающая все, что было до... – вот наилучшая плотина между потоком времени и озером человеческой памяти.

Берту я помню кругленькой румяной старушкой, утомительно четко произносящей вставными челюстями идиотские партийные лозунги. Да она и сама была «партийной» (так и произносила это слово), годов с тридцатых. Светлейшая голова идеально совместила счетное дело с государственной идеологией.

В период великого голода на Украине Берта устроилась работать в хлебный магазин и, благодаря феноменальной своей памяти, очередь отпускала с невероятной скоростью: предъявления карточек не требовала, держала в голове – кому сколько положено.

Так вот, где бы она ни жила, в первую голову шла становиться «на партийный учет». Исправно платила взносы и посещала партсобрания.

Словом, жила она и жила в этой неразличимой и тоскливой для меня сердцевине прошлого века в... Мариуполе. Отнесло ее течением от всей семьи и бросало в разные стороны.

И вот тут надо бы ухватить ниточку параллельного сюжета и тихонько так, осторожно, чтобы не порвать, подтянуть ее, связав с главной, хоть и прерывистой нитью повествования. Но для этого нужно вернуться в тот день, когда фотограф говорит юной Берте: «Момент, барышня!» и ныряет под плюшевую накидку, и колдует там, во тьме, над стеклянной пластиной. А за спиной юной девы – развалины романтического замка, и сумочка на руке, и нога в остроносой туфельке победоносно утвердилась на кудрявой капители.

В эти самые минуты с улицы через витрину ателье на Берту смотрит ученик реального училища Мишенька Лещинский, смотрит безнадежно и влюблено. Он даже урок пропустил, таскаясь за Бертой по городу: а вдруг хоть на минуточку в его сторону глянет карамельно-шоколадная дочка Пинхуса Когановского! Да только где он, и где она, и кто он такой, единственный сын шляпницы Розы?

Старше его на два года, Берта просто ослепительна: кожа гладкая, брови шелковые, золотистые, румянец акварельный...(В детстве старшие девочки ловили ее и терли поспянувшим платком щеки – убедиться, не румянит ли, паршивка?)

А когда стряслось это с нею... как сидел он в зале суда, с колотящимся сердцем, не отлучаясь на перерывы! Как смотрел на нее во все глаза! И больно и страшно – человека ведь убила, родная, родная моя! Представлял: это он, это с ним... это жизнь так отдал...

И внутри все закатывалось и обмирало...

Загибался Мишенька от любви, ходил затуманенный и очумелый, в училище остался на второй год, так что мать хлестала его по лицу чьей-то шляпкой, что под руку попала, и называла несчастьем, идиотом и гойским бездельником...

Ну, а далее декорации меняются кардинальным образом: Советская власть, которая открыла широкую дорогу беднейшим слоям, и так далее, оказалась для Миши Лещинского просто тетей родной. Его судьба сложилась на редкость уютно: он благополучно за-

кончил какой-то технический вуз и, грянув оземь, оборотился завидным женихом. Хорошее жалованье, видный мужчина. Спец.

На фотографии, где они с Бертой смотрят в объектив с деловитой готовностью подняться и ехать немедленно туда, куда пошлет судьба, Миша Лещинский – мой любимый дядя Миша, – очень похож на великого артиста Чарльза Спенсера Чаплина. Ростом тоже был невелик, косая волна кудрей надо лбом, глаза навывкате, усы – жесткой щеткой, скорее эйнштейновские...

Самой большой привязанностью его жизни была я. В смысле – именно я.

Но я как-то все время сбиваюсь в сторону!

Так вот, куда бы ни занесла ее одиночья злая доля, Берта нигде не теряла великолепной цепкости к обустройству быта. Ее светлейшая голова всегда просчитывала наперед возможные варианты и всегда разрабатывала самый плодоносный.

В очередной свой приезд к родителям Берта столкнулась с бывшим своим жалким воздыхателем, сморчком и тютей, преображенным до неузнаваемости. Он в эти годы жил в Днепропетровске, работал инженером где-то на производстве, но, как и Берта, приезжал в Золотоношу навестить мать. Та по-прежнему сидела в шляпной мастерской – в провинциях дам стало меньше, шляпки пошли на убыль, но вовсе не перевелись. Старуха потихоньку продолжала сметывать шелковые подкладки, крутить проволоку для ромашек и фиалок, подкалывать булавки.

Берта как раз и забирала от нее новую шляпку: серый фетр, бордовая ленточка по тулье. Скромно, элегантно. Цветка не надо. Они столкнулись в дверях.

Миша отпрянул, вспыхнул и побледнел... Инженер, спец, видный мужчина... Жалко было смотреть... и ужасно приятно! Берта просчитала все разом и до конца. Участь его была решена и раздавлена.

Когда она вышла, мать-шляпница, с неостывшей улыбкой, с которой уговаривала Берту «заглядывать почаще, на той неделе завезут настоящую соломку...», уже брызгала слюной и шипела сыну:

– Ни за што! Ты не пойдешь с нею, не пойдешь! С душегубицей! Душе-гу-би-цей!?

Увы, история любовной горячки и страшного преступления Берты много лет оставалась в городке любимейшей темой пересудов. К тому же старуха опасалась за жизнь единственного сына: это ж уму непостижимо – што там у нее в голове, у этой дикой женщины, не приведи господь!

Однако встреча была уже назначена.

Из Золотоноши свидания перенесли в Днепропетровск и Мариуполь, Мариуполь и Днепропетровск, опять в Золотоношу... Лет семь, кажется, – история Якова наоборот! – лет семь продолжалась борьба за Мишеньку Лещинского: война не на живот, а на смерть между румяной и по-прежнему обольстительной Бертой и старой ведьмой, изощренно проклинаящей на идиш душегубицу и всю ее родню.

Не нужно было иметь светлейшую бертину голову, чтобы просчитать исход этой битвы: рано или поздно шляпница должна была пасть, рассыпаться, как старая крепость. Она и вправду с годами приходила в упадок. Память туманилась, забывались имена и даты... но образ душегубицы и ее злодеяние – едва сын распечатывал новое письмо – всплывали перед старухой в подробностях, в речах обвинителя и защитника, взрывах рыданий в зале суда... вызывали прилив свежей ярости, – короче, шляпница молодела на глазах!

Последняя битва разыгралась в Днепропетровске, куда Берта должна была окончательно переехать к инженеру Лещинскому жить. Жить! Наконец-то жить, после стольких лет унижительного и горького прозябания.

Она купила билет на поезд, дала телеграмму о приезде, Миша белил спальню, переделанную из кладовки...

Дня за два до выстраданного Бертой великого воссоединения старуха в своей богом забытой Золотоноше напряглась, поднимая ведерко с углем и грохнулась на пороге. Она таки организовала себе паралич. Левая рука, правда, шевелилась. Этой ядовитой рукой она скорябала Мише телеграмму: «через

мой труп воскл знак». Соседка побежала на телефонный узел, вызвала инженера Лещинского с работы, и на другой же день тот примчался забрать к себе мамашу. Беленая спальня пригодилась.

Эта история в родне пересказывалась как спектакль, увлекательная пьеса в исполнении знаменитых актеров. О воплощении пьесы позаботилась Маня, младшенькая Пинхусова девочка, тоже ловкая заворотчица, Маня по прозвищу Вдовья Доля, которая и сама заслуживает отдельной новеллы и когда-нибудь ее таки получит!

Передаю события, не меняя ни слова – они все, эти девочки-заворотчицы были актрисами от рождения; как соберемся, бывало, говорила бабка, как почнем рассказы, да как завернем, завернем такое! – лучше всякого театра.

Так что я, пожалуй, просто выпущу на сцену Маню, которая в это время оказалась в Мариуполе у Берты в гостях и стала свидетельницей события.

– Я-то Бэтьке баулы помогала складывать. Она говорит – все, все заберу! Там у Мишеньки дом холостяцкий, так я и тряпочки и полотенечки...

Ну, а я утюг на угольях чуть не весь день держу: оно хоть и в чемоданах, хоть и помнется непременно, а все же какие ни есть складочки останутся... Вдруг со двора почта-льонша орет:

– Берта Павловна! Вам телеграмма!

Та выскакивает, и нет ее, нет... что за притча, думаю? А утюг-то у меня на угольях, и я при нем... Вдруг входит Бэтька: бледная, пружинистая, сует мне под нос этот листок:

– Читай! – говорит.

– Да у меня утюг на угольях!

– Читай, Маня!

Читаю по белому черным: «Приезда воздержись». Два слова! Но я таких двух слов ни себе, ни своим дочерям, ни племянницам, ни невесткам... Шутка ли, после семилет: «приезда воздержись»? А?!

– Что скажешь? – спрашивает Бэтя, а глаза сверкают, как безумные, и куда-то за спину мне смотрят... Счас, думаю, как бы она в меня чем не плеснула... Ша – молчу, молчу!

Растерялась, говорю:

– А что сказать? Это ж тебе не Талмуд, чтоб его так-эдак толковать. Написано «воздержись», значит, воздержись...

– Э, не-е-ет! – и улыбается зловеще, холодно так улыбается, что у меня, несмотря на утюг под рукой, аж мороз по коже! – Не-е-т, – говорит. – Я этой телеграммы не получила!

Тут Маня держала торжествующую паузу и заканчивала с неизменным восхищением:

– Светлейшая голова! И железный принцип!

Не знаю – скончалась ли старая шляпница сразу после того, как увидела четырнадцать Бертиных баулов, или пожила еще чуток... какая разница? Вскоре началась война, и в Ташкенте, вернее, в Чирчике, куда был эвакуирован машиностроительный завод, Миша с Бертой оказались уже вдвоем.

Ее поставили директором заводской столовой. Прошу вдуматься и осознать смысл этой фразы, держа в уме военное время, не бывало холодные зимы, голод, карточную систему, талоны на обед. Основным блюдом в меню значилась все та же легендарная «затируха» – мучная похлебка, единственным достоинством которой было то, что она беспрерывно кипела в котлах.

На затирухе Берта могла озолотиться. Десятки директоров подобных столовых стали за военные годы богатейшими людьми.

– Но только не Берта, – говорит мне мама. – Она была кристальной честности коммунистом. Кристальной!

При этих словах я представляю себе кристаллики серной кислоты, – хотя понятия не имею, как она выглядит, надо бы спросить у знакомого химика. Я ведь никого еще не убивала и даже не помышляла никого изуродовать; то ли яростная фамильная страсть оскудела, то ли просто случая не представилось...

– И больше того, – добавляет мама. – Ни себе, ни Мише не позволяла лишнего половника в миску. Его коллеги по работе, бывало, просят:

– Миш, сказал бы ты своей, пусть лишний талон выпишет, жрать охота!

– А он в ответ:

– Да она и мне не дает...

И в самом деле, всю войну проходил настоящим доходягой.

Однако бедняками Берта с Мишей не были. Работали оба тяжело, особо тратить было не на кого, детей у них не вышло и не предвиделось: Миша оказался бездетным. Одно время сестры (трое из пятерых остались после войны в Ташкенте, Маня, младшенькая, «а мизиникл», вернулась на Украину; семью Веры, в честь которой названа моя сестра, в самом начале войны расстреляли вместе с прабабушкой Хаем под Полтавой немцы) – так вот, сестры уговаривали Берту взять на воспитание живую душу, в те годы детские дома были переполнены сиротами.

– Чужого ребенка? – уточняла Берта. – Чужую кровь? Ни за что!

Так что деньги или, как говорила Берта, срдства у этой пары бездетных голубков постепенно копились.

К тому же была у Берты еще одна зыбкая и, боюсь, противозаконная статья дохода. Время от времени, ближе к вечеру, к ним заходили негромкие солидные мужчины, сидели недолго и уходили, оставив на столе столько, сколько совесть велит, – твердой таксы Берта не называла. Это были цеховики: с наплывом в Среднюю Азию эвакуированных толп в наших теплых краях не бывало расцвели подпольные цеха. Я отлично помню кое-кого из этих неприметных цеховиков, живущих по соседству. Дядя Саша, отец моей подруги Ленки, сначала изготавливал костяные гребешки, потом перешел на перьевые подушки.

Эта подпольная деятельность, о которой вполголоса говорили взрослые, представлялась мне чем-то вроде копошения гномов в темноте под землей. Время от времени кто-то из них совершал неосторожное действие, и дракон с сакральным – судя по затаенному ужасу, с каким произносили его, – именем ОБЭХЭЭСЭС изрыгал огонь на бедного цеховика... В зависимости от величины взятки

жертву, обреченную на заклятие, удавалось выкупить или, по крайней мере, скостить срок отсидки.

Помню обрывок странного разговора, услышанного мною в трамвае в детстве:

– ...а что Зяма! Он вышел и опять пошел класть голову на плаху...

И я, придурковатое дитя арбузных рядов, запроданная Александру Дюма с потрохами, уплаканная до соплей над участью Марии Антуанетты, при этих словах бог весть что себе вообразила!

Так вот Берта. Она ставила производство.

Много лет спустя, в последний свой приезд на родину, о тете Берте мы вспоминали со стареньким отцом моей подруги. Он сидел в кресле на террасе своего дома, построенного когда-то на прибыль с тех же гребешков или подушек, или еще какого-нибудь подпольного товара, уже не в силах подняться мне навстречу, дробно кивая каждому своему слову, словно заигрывал с «Паркинсоном», что оставлял ему все меньше свободы жестов.

– О, Берта Па-а-а-вловна! – подняв трясущийся палец, говорил бывший цеховик. – Это была светлейшая голов-а-а! Она с ходу тебе называла суммы вложения, оборот, проценты... Она тебе всю карту дела выкладывала. А под рукой ни карандаша, ни листочка, ни упаси боже – деревянных счетов. Разве сравнить с этими современными пустозвонами с ихними электронными считалками? Нет: Ротшильд! Морган! Рокфеллер! – вот кем она стала бы в другое время и в другой стране... – Трясущейся рукой старик достал конфету из вазочки, стал неловко разворачивать и уронил ее в чай.

После войны Берта с Мишей из Чирчика перебрались в Ташкент, купили на Асакинской половину домика – две комнаты, кухня, выходящая на террасу, – типичное ташкентское жилье середины века. Железную, крашеную серебрянкой печку зимой надо было топить. И Берта сэкономила на угле.

Мы с мамой часто бывали у них в гостях зимними вечерами; помню зябкого, в трех старых кацавейках, дядю Мишу.

– Бэрта, ребенок пришел! – взывал он к своей немногословной жене, и в эти минуты очень похож был на старого Чарли Чаплина, бродягу из «Огней Большого города» – Давай же подкинем уголек, Бэрта!

– А что, у нас холодно? – недоуменно спрашивала румяная Берта. – У нас совсем тепло. А если ты мерзнешь, так одень еще одну шмату...

Помню и летние вечера, жужжание мух в прохладе высоких потолков, стол на террасе, накрытый к чаю. Прозрачно-золотистое варенье из айвы в пиалах и желто-черная воронка над ними жадных ос, – Миша, гони от ребенка эту заразу!

Дядя Миша, маленький, с поредевшей волной седых кудряшек, стоит надо мной с кухонным полотенцем, свернутым в жгут: отгоняет ос. Остервенелое выражение на добрейшем лице. Долгие разговоры и препирательства с Бертой на тему – варить кипятком их проклятые гнезда!

Нас с ним связывала большая любовь. Какая-то необъяснимая тяга друг к другу двух разведенных во времени душ. Бывало, он забирал меня из детского сада и вел в зоопарк. Моя рука и сейчас помнит шершавую мягкость его теплой ладони. Какое счастье, что физическое тепло вполне осязаемо входит в тепло душевное, и остается в памяти до самого конца.

Я пишу эти строки в своем кабинете, в окне – волнистые холмы Иудейской пустыни, а сама я в то же время иду с дядей Мишей по улице Асакинской, вдоль трамвайных путей, осторожно перепрыгивая через трещины в асфальте; осторожно, потому что в кармашке моего синего платья выключенный у дяди Миши подарок: новорожденный черепашонок размером с гривенник. Ему и цена-то гривенник, только хлопот полон рот: сначала идти в дирекцию зоопарка, брать разрешение на покупку, тащиться с этой бумаженцией на другой край огромной овражистой территории, чтобы поставить печать и уплатить в бухгалтерию, и лишь затем в полутемном сарае за обезьяньими клетками выбирать в огромном деревянном

ящике, в каше копошения сотен черепашат твоего единственного друга с кожистым янтарным панцирем, тощей шейкой и змеистой головенкой, похожей на коробочку.

– Ну... бери любого и уже пойдем, – говорит дядя Миша, вытирая потный лоб носовым платком.

– Подожди...

– Ну это же такая чепуха, даже смешно... Они все одинаковые!

– Нет, не одинаковые, ты не понимаешь!

Мы проводим у ящика еще с полчаса, я – свесившись по пояс внутрь, перебирая черепашат, похныкивая, что надо брать уже сразу двоих, или лучше... троих... А то ему будет скучно...

– Давай, завернем его в лопух, – предлагает дядя Миша на обратном пути.

– Зачем?!

– Чтобы он не закакал твое такое прелестное платьишко.

– Нет, он задохнется! Нет, задохнется! Нет!!!

– Ай, не упрямься... – он срывает лист лопуха над арыком и мы, ссорясь, вскрикивая, охая и несколько раз роняя на землю растопыренного черепашонка, наконец заворачиваем его в лопух, а он вытягивает шею, гребет по воздуху лапами, как упорный и безнадежный пловец в океане, и так хочется сильнее сжать нежный пружинистый панцирек, проверяя – не выпрыгнет ли при давлении наружу то, что внутри?

На каждой прогулке дядя Миша кормил меня мороженым и притчами. Мороженое выбиралось на лотке долго, чаще всего это было эскимо в серебристой обертке. Нет, не это! Вон то! Нет... то, что вы сейчас взяли, а потом положили...

– Дедуля, ну и балуете ж вы ребенка!

Мы сидим с дядей Мишей на деревянных, еще холодных после зимы скамейках в Сквере Революции, мои ноги в сине-красных, с лакированными круглыми носами ботинках не достают до земли, на коленях развернут большой дяди Мишин носовой платок – чтобы не закапать, боже упаси, такое прелестное платьишко! Ну, слушай жиз-

ненную историю... И запомни ее навсегда... Летит старый орел над высокими горами, и несет он на спине своего сына, орленка... И говорит ему...

– Почему? Тот еще не умеет летать?

– Не умеет, – скорбно говорит дядя Миша так, что у меня отпадают все сомнения в реальности этого странного перелета. Правда, много чего стоило бы уточнить: куда они летят и зачем? И к чему такая срочность, что уж и не подождать, пока орленок станет летучим? Вообще, к любой истории у меня готова масса дурацких вопросов, и дядя Миша никогда не скажет, как остальные взрослые – замолчи, не перебивай, ты не умеешь себя вести, – будет терпеливо отвечать, – но я вижу, как грустно покачивает он головой, как наливаются скорбью его глаза, и молчу.

Ну, давай, что там за жизненная история с говорящими орлами...

– И говорит старый орел сыночку: видишь, дитя мое, я несу тебя через горы, через моря... так далеко я лечу и так мне тяжело, но я несу своего сына из последних сил... А ты, когда станешь взрослым и сильным, а я буду старым и слабым... понесешь ли ты меня на своей спине?

М-м... логично. Почему же дядя Миша грустно умолкает и укоризненно кивает собственным мыслям?

– Нет, – отвечает орленок. Когда я вырасту и стану большим, я понесу на спине своего сына...

М-м... Тоже логично, ничего не скажешь: если орел будет таскать на спине папашу, кто тогда понесет малыша?

– А дальше? – спрашиваю я. – Орел рассердился? Сбросил сына в пропасть?

– Боже упаси, – пугается дядя Миша, – кто же бросает в пропасть своих детей...

– Но что же было дальше?

– А ничего, – дядя Миша вздыхает. – Я же сказал тебе – это притча. У нее нет конца. Есть только высокий смысл, понимаешь? Ничего, ты еще вспомнишь и поймешь, ты потом оценишь...

Умер дядя Миша внезапно, ранней холодной весной. Лег с вечера спать и утром

не проснулся. Дал же бог такую смерть, говорили в родне. Завидовали...

Я училась во втором классе и не помню, чтобы сильно горевала. Нет, я не была бесчувственной идиоткой, просто поток жизни пронесся сквозь меня – целый мир с такой сокрушительной силой, что я не успевала оборачиваться.

Оплакивать дядю Мишу я начала совсем недавно, сейчас, когда мне стало совершенно ясно, что я и в самом деле больше не увижу его никогда. Никогда. Это слово является нам в полном обнажении смысла именно в тот момент, когда притча подходит к концу, а нам так хочется продолжения. Хотя мы уже прекрасно знаем, как жестоко обрывается настоящая притча.

На похороны меня не взяли и, гоня гальку по непросохшему весеннему асфальту, исчирканному в классики куском кирпича, я увидела, как во двор к нам въехал «рафик» и из него вышли мама, бабушка, мои дядя с тетей и старенькая сгорбленная Берта в платке. Они молчащей вереницей прошли мимо меня к нашему подъезду, заплаканная мама бросила:

– Поиграй еще, поиграй... – видимо, не хотела, чтобы я болталась под ногами в нашей небольшой квартирке, куда она зазвала родных согреться чаем и перекусить после похорон.

Я осталась стоять, ошеломленная смиренным преображением Берты из женщины в старуху. Что – платок? горестная сутулость? от чего зависит этот поворот рычага в мироздании каждого человека?

Словом, Берта осталась одна и жила себе дальше еще много лет, по-прежнему покупая твердую зеленую айву на варенье, гоня полотенцем ос и время от времени продолжая давать финансовые консультации воротилам подпольного бизнеса.

– Светлейшая голова! – вздыхали знакомые и родственники.

Денег за советы она ни с кого не требовала, печь топила зимой только в сильные холода, берегла копейку и активно посещала «партийные собрания».

Между тем, ташкентская почва копила в своих недрах горючую ярость, которая разыгралась апрельской ночью 66 года несколькими мощными толчками, не слишком заботясь о владельцах глиняных особнячков, вроде того, в каком обитала Берта. Не то, чтобы дом рухнул вдруг кому-то на головы, нет. Правда, одна из стен треснула и пошла вбок, и соседи подперли ее двумя толстыми бревнами. Но этот катаклизм так удачно подмахнул вялую «партийную» тему дружбы народов, что весь центр города на всякий случай пустили под бульдозер. Гигантская стройка развернулась в пыли среди ревущих экскаваторов, могучие чинары, под кронами которых столетиями клубилась лиловая тень, падали с грохотом на пустырях, где вчера еще вдоль улиц струился тихий лепет арыков.

Бертин домик был порушен за здорово живешь, но зато ей дали однокомнатную квартиру в одном из быстро возведенных районов. Она была страшно довольна: эпоха ведерка с углем, лопатки, садовой тяпки и прочего земельного инвентаря навсегда уходила из жизни. Дядя самолично перевез ее на новую квартиру, и целый час Берта гуляла по своей жилплощади, лаская ребристые батареи парового отопления, ахая перед кладовкой и с удовольствием вдыхая запах масляной краски.

– Что твоя королева! – приговаривала она зачарованно. – Я буду жить, что твоя королева!

Глухая королева, добавлю я. Да, это наше семейное – к старости мы глохнем.

Берта, кругленькая румяная старушка, никак не хотела пользоваться слуховым аппаратом. То ли экономила, то ли считала затычку в ухе чем-то позорным. Но теперь, когда мы с мамой приходили к ней в гости, надо было колотить ногами в дверь и одновременно остервенело давить на кнопку звонка, чтобы достучаться. С каждым годом голос в разговоре с ней повышался на пол тона.

– Когда я возвращаюсь от тети Берты, – говорила мама, – я и шепотом не в состоянии говорить. Ни один самый тяжелый

класс, даже седьмой «Б», не стоит мне такого напряжения голосовых связок.

Дважды в год мама торжественно приглашалась для сакрального ритуала: Бертина каракулевая шуба (приобретенная когда-то у адвоката, вдовца, что распродал гардероб покойной жены), весной отправлялась «в нафталин», а осенью из нафталина извлекалась – седоватая, с маслянистым блеском на крутых завитках, – рождалась, как Венера из пены морской.

– Вчера была в жэке на партийном собрании, – докладывала Берта. – У меня украли авторучку.

– Ага-а! – кричала мама. – Это все твои партийцы!

– Собрание было открытым, – возражала та.

Она следила за здоровьем. Если шла в булочную, то просила там разрезать буханку строго надвое и возвращалась, держа в обеих руках по половинке, для равновесия. Объясняла нам: «Я одинокая, за мной ходить некому...»

Правда, совсем уже в глубокой старости Берта все-таки прибилась к семье своего племянника, моего дяди Яши, маминого брата. Ее светлейшая голова, как всегда, просчитала все наперед.

В один прекрасный день она приехала к нему на трамвае, плотно уселась в кухне на стул и, медленно проговаривая слова дребезжащим голосом, расправляя обеими ладонями скатерку на столе, предложила родственный обмен: она перепишет свою квартиру на Семена, Яшиного старшего балбеса, а сама переедет сюда, в его комнату. И для всех наступит покой.

К тому времени Семен, с детства трудный мальчик, вырос и вполне профессионально терроризировал всю семью. Так что подобное предложение для дяди Яши действительно грянуло, как сошествие с небес архангела Гавриила. Тут же были уточнены хозяйственные условия, на этом настояла Берта. Она ежемесячно отдает в семью свою приличную пэнсию – аж тридцать пять рублей, деньги немалые, на мелкие удоволь-

ствия добавляет из накопленных с Мишенькой срдств и живет себе до логичного конца в покое и тепле, в большой квадратной комнате с двумя окнами.

Обоюдному – да что там обоюдному! – тройственному счастью, казалось, не было предела: дядя Яша приобретал тихую, чистоплотную и еще бодрую тетку вместо великовозрастного скандалиста, с его вонючим мопедом и оглушительным транзистором; Семен отчаливал на свободную хату – води кого хошь! А Берта...

Берта, перетаскивая свои пожитки в большую и светлую комнату в квартире племянника, и предположить не могла, во что влипла на старости глубоких лет. Ибо в соседней комнате этой квартиры обитала ее родная сестра Рахиль. Моя бабушка.

Ну и что? – скажете вы, и любой скажет. Замкнулся круг длинной жизни, две ленты сплелись: две родные сестры, две вдовицы, две старые голубки оказались под одной крышей, как много лет назад, в Золотоноше, в доме своего отца Пинхуса Эльевича...

Положим, обе они никогда голубками не были. Рахиль, моложе Берты на три года, третья по счету, – та, что сидела на завороте и устанавливала немыслимые рекорды – конфета в секунду, ну, в две! – обладала характером лютым и с первого дня встретила сестру в штыки. Тесно ей было с Бертой. Подмечалось все: сколько та кладет сахару в чай, где ставит боты в прихожей, как и когда вывешивает на балконе белье... Не могла бабушка простить сыну, что в дом закралась врагиня. Ревновала так, что искры летели. Припоминала ей все.

– Мишу-то, Мишу угробила! – кричала бабушка в сторону коридора, – бедный, мерз всю свою жизнь, а она для него угля жалела!

В особо тяжелых случаях для арбитража вызывалась моя мама и возвращалась оттуда в совершенном отчаянии. Уверяла, что в ссорах зачинщица – бабушка, знала материнский нрав.

Раза три она и меня брала с собой, разрядить обстановку. Я училась уже в деся-

том классе спец. муз. школы для одаренных детей, публиковала рассказы в популярном московском журнале, и, что гораздо серьезнее, в газете «Вечерний Ташкент» уже вышло со мной интервью, где последним вопросом значилось «Ваши творческие планы?»; предполагалось, что старухи меня постесняются. Ничуть не бывало! В один из этих визитов я и услышала брошенное бабкой: «Убийца!» – в Бертину сторону. И посчитала бы это фигурой речи, если бы не мгновенно изменившееся мамино лицо и сдавленный ее вопль: «Молчи!!!». Вот тогда, на обратном пути домой, в трамвае мама и рассказала в общих чертах – я бы все равно не отстала – историю этой любви и преследования.

Я пришла в неописуемый восторг! Представила хорошенькую растрепанную Берту в полицейском участке, обезображенный труп ее брата-возлюбленного на мостовой...

– Да-а-а, – протянула я с удовольствием. – Семе-е-ейка! Прямо, всадник без головы!

И немедленно все забыла по причине оголтелой юности.

Помню сцену, одну из последних. Мы с мамой пришли в гости «к бабкам» (две обязательно одинаковые коробки конфет, или два кулька, или две пары одинаковых рейтуз, но разного цвета, чтоб не передрались).

Дверь в комнату к Берте была прикрыта, и оттуда неся громкий мужской голос:

– Так вы советуете, Берта Павловна, все вложить в материал...

И что-то тихо на это отвечала Берта.

– Но он готов проценту дать только три, максимум четыре! А оборот весь...

И снова тихий голос старухи.

Потом дверь отворилась, гость от Берты вышел, она закрыла за ним дверь в прихожей и направилась в кухню.

– Одного угробила, второго угробила... А сейчас морковку будет себе тереть! – ядовито сообщила бабка.

Я, всегда алчная к деталям, немедленно бросилась в кухню, якобы напиться. Берта стояла и терла морковку. Я поздоровалась,

чмокнула ее в румяную пергаментную щечку. Она кивнула на влажную оранжевую горку в миске и четко проговорила:

– Мне за собой смотреть надо! Я в одночасье должна умереть. За мной ходить некому...

И что вы думаете? Как сказала, так и сделала!

Ей исполнилось девяносто лет, и умерла она так же, как ее трепетный муж: прилегла отдохнуть, а уж вставать посчитала излишним. Накануне в очередной раз по Бертиной просьбе мама ублажала каракулевую шубу в нафталин. И обратила внимание на то, что Берта не сказала, как обычно: «пусть полежит до зимы». Только проводила молчаливым взглядом за маминой рукою путь металлической молнии на брезентовом мешке.

На сберкнижке у Берты от всех накопленных с Мишенькой средств оставалось 32 рубля 40 копеек. Видимо, ее светлейшая голова точно просчитала нерентабельность дальнейшего существования.

– Слушай, – сказала я маме на днях, вернее, проорала: мама стала стремительно глохнуть, а слуховой аппарат носить не желает. У нее на это какие-то свои резоны, но после нескольких часов общения мои голосовые связки приходят в жалкое состояние, и я даю себе слово, что в старости, когда оглохну, воткну себе слуховые динамики в оба уха. Пожалею детей.

Нет, я понесу на спине своего сына...

– Слушай, я тут настрочила рассказик про Берту. Чего сюжета пропадать...

– Про кого?

– Про Бер-ту!!!

– Чего вдруг? – говорит мама, начищая овощи для супа. – Тоже мне, сюжет...

– Ну-ка, напхни: где она могла раздобыть серную кислоту?

– Что раздавить?

– Раз-до-быть! Отраву эту! Кислоту! Где взяла?

– Фрадкин дал, подлец.

– Кто-о-о?!

– Ну, Катин же муж, Яша Фрадкин. – И спокойно смотрит на мое оторопевшее лицо. – Муж Екатерины Афанасьевны, самой старшей ее сестры. Я тебе рассказывала. Ты просто помнишь только то, над чем сейчас работаешь.

– Ни черта! Ты! Мне! Не рассказывала!!! Ну-ка, давай, гони историю!

– Яшка-бандит, сначала работал у деда, ну, твоего прадеда Пинхуса Эльевича, учеником-кондитером. А когда он окрутил Катю – да просто не подпускал к ней никого, бил морды всем ухажерам, она за него от страха вышла, – то быстренько украл все рецепты деда и ушел и через три улицы создал свой конфетный цех... Вот он Берту и подучил. Ты, говорит, только брызнешь маленько, пугнешь его, чтоб женился... И кислоту он же где-то достал. А она, вон как, не рассчитала...

– Елки-палки!!! Я почти закончила рассказ, а ты мне еще какого-то Яго подсовываешь!

Выходит, Берта не преступница, а жертва?!

– И жертва, – говорит мама, опуская картофелину в кастрюлю, – и преступница... Понимаешь, у Берты, может, ты не помнишь, была...

– Светлейшая голова, – нетерпеливо перебиваю я. – Ну и что с того?

– Яшка хотел переманить ее к себе в цех. На ней же у деда все финансы держались... А тут такое... Они с Катей мгновенно собрались и покатились – аж до Ташкента. Я рассказывала тебе, как в первые месяцы войны, совсем девчонкой приехала к ним одна, поступать в Среднеазиатский университет, и сбежала буквально через неделю в общежитие, потому что смотреть, как этот гад издевается над тетей Катей было...

– Стоп! – говорю я. – Это другой рассказ. Ты мне здесь не смешивай краски...

– Вот так всегда, – вздыхает мама. – Тебя ничего не интересует из того, что не влезает в данный сюжет...

– Значит, суд отпустил ее после родов, потому что присяжные решили, что настоящим преступником был...?

– Нет... – говорит мама твердо. – Берта не выдала этого негодяя. Ни словом не обмолвилась – девчонка, восемнадцать лет! У нее были железные принципы... А на суде ее спасли братья убитого. Так и сказали оба, в один голос: «Этот ребенок до рождения потерял отца. Не лишайте его матери!»

Мама умолкает и пробует ложкой суп: конечно, это не патока, ароматы наших конфетных угодий окончательно развеялись в начале прошлого века, но уж приличный овощной суп женщины моей семьи сварить еще в состоянии.

– И, знаешь, что интересно... – вдруг говорит она: – Берта, единственная из всех пяти дочерей, каждый месяц первого числа, – день в день до самой войны! – посылала родителям денежные переводы. Довольно приличные, как говорила она, срдства. Это их очень поддерживало.

Между прочим, я пришла к выводу, что любой мастеровой навык, приобретенный человеком в том или другом семейном производстве, передается детям и даже внукам. Вот мама моя – историк, серьезный, далекий от фантиков человек, – всегда с необычайной сноровкой пухлых своих пальцев, приговаривая: «ловкость рук и никакого мошенства!» – может развязать мельчайший узелок на нитке, на цепочке. Да и я, не говоря уж о минувшей фортепьянной беглости пальцев, хоть сейчас заверну вам, упаковую любую посылочку-передачку так, что сердце возрадуется.

Было бы что заворачивать.

Было бы кому посылать...

И бог его знает – куда уносятся все эти дни и годы и даже века! Что за неутомимая заворотчица все крутит там и крутит сладостные мгновения наших судеб...

Необъятные горы безысходных конфетосекунд...

Март 2007

Александр КАНЕВСКИЙ

МИШКА НОРУШКО



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Что творилось в доме Норушко: Мишку собирали в командировку! Последние двадцать лет Мишка не выезжал из дому дальше семейного садового участка, поэтому был совершенно подавлен. Чемодан ему паковала жена. На кухне тёща жарила в дорогу уже вторую сотню котлет. Тесть, капитан милиции, давал последние напутственные указания:

– В поезде – никому не доверяй: портфель под голову, чемодан – под ноги. Суточки где удержишь?..

– Вот. – Мишка вытащил из кармана кошелек.

– Отставить! Деньги надо держать в потайном кармане. Сейчас я тебе его пришью к майке.

Мишка покорно стянул рубашку.

Вошла тёща в милицейских сапогах и кителе: она экономила свою одежду и дома ходила в одежде мужа.

Поставив на стол блюдо с котлетами, строго посмотрела на зятя и приказала:

– К бабам не приставай! Знаю я вас, командированных.

Жена тихо заплакала, укладывая бельё. Мишка легко простуживался – от сквозняков, от самого тихого ветерка, даже от дыхания спящей рядом с ним жены, поэтому она, несмотря на августовскую жару, на-

била чемодан тёплым бельём. Слёзы капали на кальсоны.

Мишка стал ее успокаивать, клялся писать каждый день, утром и вечером. Ему стало жутко от мысли, что он может приставать к чужим, незнакомым женщинам.

– Купи мне роверон и сигмомецин, – попросил переходящий дед. Он переходил от родственников к родственникам для дополнительного метража при намечающемся увеличении жилплощади. Когда в семье Норушко узнали о Мишкиной командировке, деда срочно привезли и прописали: раз Мишку стали посылать в командировки, могут дать новую квартиру.

– Вот! – Дед протянул стопку рецептов. – Если этих не достанешь, возьми какие-нибудь другие.

Дед беспрерывно поглощал разные лекарства, которые попадались под руку. Объяснял это так: пока достанешь те, что выписали, и этих не будет. Несмотря на съеденное количество лекарств, был бодр, наверное, благодаря своей худобе.

– Эх, мне бы с тобой... Я бы!.. – игриво выкрикнул дед, очевидно, он проглотил что-то возбуждающее.

...Вечером на вокзал Мишку провожали все. В купе уже расположились три студентки. Тестю это не понравилось. Пошептавшись с проводником, он перевёз зятя в другое купе, где ехала деревенская старушка с котёнком и два солдата. Тесть засунул Мишкин чемодан под подушку, проконтролировал, как запирается дверь, и проверил у солдат отпускные удостоверения. Потом снова вызвал проводника и потребовал присматривать за Мишкой, хотя Мишка был в том возрасте, когда можно, еще имея детей, уже иметь внуков.

– До отхода поезда остается пять минут, – сообщило радио.

– Майку до возвращения нигде не снимай, – многозначительно напутствовал тесть.

Жена снова заплакала. Растроганная старушка уступила Мишке нижнюю полку. Травмированные солдаты стояли по стойке «смирно». Даже суровый тесть не-

заметно смахнул на пол скупую милицескую слезу. Только переходящий дед чувствовал себя прекрасно и съел весь сахар, приготовленный для чая.

Ночью Мишка долго не мог уснуть. Волнения дня улетучились, впереди ждал маянший, неизвестный город, ответственное задание, которое он, конечно, с честью выполнит. Он, Мишка Норушко, вдруг впервые почувствовал свою значимость. Начался новый этап в его биографии. Очень хотелось петь. Он буквально за уши удерживал в себе рвавшийся наружу куплет:

«Едем мы, друзья,
В дальние края,
Станем новосёлами
И ты, и я! »

...Город Заусенск встретил его тепло и безоблачно. На тротуарах, в деревянных загончиках, как зеленые поросята, похрюкивали на солнце арбузы. Напротив гостиницы был почему-то установлен памятник Лобачевскому. Привязанная к нему коза лениво доедала лежащий на постаменте букетик ромашек.

В гостинице Мишка записался в очередь на получение койки. Записался пятьдесят шестым. Очередь двигалась со скоростью пять коек в день и пятнадцать в ночь.

Мишка маялся в вестибюле уже вторые сутки (отлучаться было нельзя, отлучившегося вычеркивали), писал жене длинные письма, угощал соседей по очереди тёщиными котлетами и играл с ними в дурака «на носики».

И вдруг его окликнули:

– Здорово, старуха!

Он обернулся и обомлел: это была Лялька Доброштан, бессменная староста третьей группы, которую он не видел уже лет двадцать. Они обнялись, расцеловались.

На их курсе занималось тридцать две девушки, тихий и робкий Мишка был единственным мужчиной, но все давно забыли об этом. Студентки рассказывали ему о своих увлечениях, его фото висело на «Доске отличниц», даже деканат поздравлял его вместе со всеми с днем 8 Марта.

– А ты молодец, старуха! Держись! – Лялька одобительно хлопнула его по плечу. – Многие наши уже карикатуры на самих себя, а ты ещё – дружеский шарж...

– И ты – шарж, – галантно ответил Мишка. Разобравшись в ситуации, Лялька немедленно приняла решение:

– Поужинаем вместе, попьём чайку, отоспишься у меня, а потом опять станешь на свою вахту.

Поужинать в ресторане не удалось, все столики были заняты – там счастливые обладатели номеров праздновали свое вселение.

Лялька затащила его к себе в номер, придвинула столик к тахте, быстро соорудила какую-то еду, включила крохотный электрический чайник, который привезла с собой, и даже поставила на стол начатую бутылку пива. Они выпили, закусили и, перебивая друг друга, стали вспоминать однокурсниц. Потом, как когда-то, Лялька рассказала ему о самом интимном: о своём муже, тренере по боксу, который последнее время «задурил» и стал заигрывать с комендантшей их дома. Захмелевший от радостной встречи Мишка пообещал набить ему физиономию...

За окном уже давно стемнело. Негатив неба макнули в проявитель, и на нём проступили звезды. Лилипут-чайник кипел, как оскорблённый итальянец, создавая домашний уют в номере. Мишка блаженно улыбался. Радость распирала его, как на демонстрации.

И тут дверь без стука распахнулась и с возгласом «Попались, голубчики!» в номер ворвались дежурная по этажу и администратор гостиницы.

– С поличным! – дежурная хищно схватила недопитую бутылку, подскочила к Ляльке и угрожающе замахнулась носом. Ее нос напоминал по форме модный импортный сапог. И по размеру тоже.

– Будем составлять протокол, – заявил администратор. Он был энергичен и волосат, волосы пёрли из него, как из унавоженного чернозёма.

– Я заранее приготовила. Только фамилии проставить! – Дежурная протянула ему исписанные листки.

– Что это значит? – спросила, наконец, пришедшая в себя Лялька.

– Нарушение инструкции коммунхоза, – ответил волосатый администратор. – Пребывание в номере постороннего лица...

– Да мы двадцать лет дружим! – перебила Лялька.

– Старая связь! – уточнила дежурная.

– ...после одиннадцати вечера, – закончил фразу администратор. И добавил: – Разврат с применением алкоголя.

– Подождите, подождите... А если бы мы разошлись без пяти одиннадцать?.. Тогда бы это не был разврат?

– Без пяти еще можно.

– А в пять минут двенадцатого?

– Уже нельзя.

Лялька еще долго возмущалась и протестовала, а Мишка совершенно потерял дар речи. Он молча отдал свой паспорт, из которого переписали все данные о владельце, и покорно спустился в вестибюль.

Здесь дежурная и администратор посвятили всех командированных в обстоятельства дела и предложили исключить Мишку из очереди как аморальную личность. Очередь радостно откликнулась. Особенно активничали те, кто стоял за Мишкой, а так как их было большинство, то через три минуты опасный нарушитель общественной нравственности был с позором выдворен за дверь...

Когда Мишка переступил порог собственного дома, его встретило тягостное молчание. На столе лежало распечатанное письмо от администратора гостиницы. Мишка хотел поцеловать жену, но та отшатнулась от него, как от прокажённого, и зарыдала, прижимая к себе детей. Даже переходящий дед не поздоровался с Мишкой: он мрачно жевал пурген и осуждающе постукивал своими костями.

Тесть направил на Мишку свет настольной лампы и спросил:

– Будем молчать или будем признаваться?..

– Вон из моего дома, потаскун! – крикнула тёща и величественно указала на дверь. Вместо халата на ней была надета старая шинель мужа, и она напоминала регулировщика.

– Сексуальный рецидивист! – обозвал Мишку тесть, вытолкнул вслед за ним его чемодан и захлопнул дверь.

...Это был крупносклочный дом. Новость распространялась в нём быстрее любой инфекции. Когда Мишка спустился вниз, его встретил комендант. Не здороваясь, он сообщил:

– Сегодня лекция: «Моральный облик советского молодого человека». Читает персональный пенсионер товарищ Творожок.

– Ну, так что? – удивлённо спросил Мишка. Комендант в упор вонзил в него суровый взгляд.

– Вам бы не мешало послушать!..

...Первое, что Мишка увидел, войдя в здание своего управления, это огромное объявление, извещавшее об общем профсоюзном собрании с повесткой дня: «Персональное дело товарища Норушко». Тут же к нему подскочил инспектор Менделевич, признанный городской сердцеед, и стал трясти Мишке руку.

– Я ведь не знал, что ты тоже по этому делу... Сколько лет все в подполье. Ай да конспиратор! Преклоняюсь!

Сам Менделевич постоянно попадал в скандальные истории, которые заканчивались женитьбой. У него было уже с полдесятка жён. Он даже составил специальную таблицу Менделевича, по которой платил им всем алименты.

...Зал, где состоялось собрание, был переполнен и парадно освещён. Особенно ярко было в президиуме: по инициативе местных шутников сюда выбрали всех лысых – лысины членов президиума светились, и от них отражались «зайчики».

Мишку поставили перед залом, долго допрашивали, интересовались подробностями. Мишка понимал, что надо бы повернуться и уйти, но не в силах был двинуться с места. Он напоминал огромную

бутылку, налитую чугуном. В горло как будто воткнули пробку, от которой нельзя было избавиться даже при помощи штопора. Не в силах вытолкнуть из себя ни слова, он зажал дрожащие ладони под мышками, молча потел и почему-то идиотски улыбался.

После двухчасовых дебатов собрание приняло решение объявить Михаилу Норушко выговор за аморальное поведение, перевести его в другой отдел, где нет женщин, и максимально загрузить общественной работой, чтобы ему некогда было заниматься глупостями... Поблагодарить администрацию гостиницы города Заусенска за своевременный сигнал и сообщить, что должные меры приняты.

– Не грусти, старик, – утешал Мишку Менделевич, – не всё коту масленица! Столько лет скрывался – надо ж когда-то и подзалететь. Ничего! Впредь будешь осторожней.

Менделевич помог Мишке с жильём. Он устроил его за городом, в маленьком домике у вдовы аптекаря, которая торговала арбузами.

Все Мишкины попытки вернуться в семью кончались неудачей: тесть и тёща не пускали его на порог. Переходящий дед уехал к следующим родственникам, претендующим на увеличение жилплощади. Жену к Мишке не подпускали, к телефону не звали. На улице поговорить тоже не удавалось: на работу её провожала тёща, а после работы тесть присылал за ней мотоцикл с коляской.

Зато в управлении Мишка стал заметной фигурой. Мужчины уважительно перемигивались у него за спиной, женщины смотрели на него с повышенным интересом.

Иногда к Мишке в комнату заходила вдова. Она покупала одежду в магазине «Богатырь». Её тело состояло из огромных шаров, казалось, что она проглотила, не разжёвывая, часть своих арбузов. Она плотоядно поглядывала на своего жильца и, зная его репутацию, удивлялась, почему он медлит и не предпринимает агрессивных акций.

А Мишка маялся и тосковал. Хотя аптекарь умер уже лет пять назад, в доме все еще пахло валерьянкой – это спасало Мишку от сердечных приступов. Особенно, когда он смотрел на вдову.

Однажды после работы к нему подошёл Менделевич и заговорщически прошептал:

– Есть хата, отдельная, и хозяйка с другой... Возраст бальзаковский, но выглядят, как Софи Лорен. Нужен опытный парник. Пойдём?

– Пойдём, – покорно согласился Мишка.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Прошло время. Грянула перестройка. Зазвучали слова: рэкитеры, олигархи, ваучеры... В магазинах появились копчёная колбаса, персики, красная икра, раки... Всё было на витринах, всё доступно (конечно, при наличии денег), и не надо было становиться проктологом, чтобы добывать это всё через «задние проходы» магазинов.

Вдова стала агрессивней. Устав ждать, она решила действовать. Перед тем, как войти к Мишке в комнату, снимала лифчик, расстегивала верхние пуговицы блузки, и её груди, как солдаты перед атакой, выдвигались на передний край, выставив в амбразуру два дула своих сосков. Мишка в ужасе выскакивал из квартиры, отсиживался в соседнем скверике, возвращался домой уже ночью, запирался на ключ в своей комнате и до утра даже в туалет не выходил.

– Всё! Конец! Я больше не выдержу! – однажды заявил он Менделевичу.

– Перестань! Что за истерика.

– Тебе хорошо, у тебя отдельная квартира! Тебя никто не преследует!!

– Да, мне хорошо. А знаешь почему? – И он задекламировал:

«Я весёлый,
Ты в слезах,
Я сплю голый,
Ты в трусах»...

Кстати, это я сам сочинил.

– При чём тут голый или трусы?

– А при том: вместо того, чтобы переспать с этой безразмерной дамой пару ночей и иметь за это бесплатную жилплощадь и неограниченное количество арбузов, ты выпендриваешься и убегаешь из дому.

– Да! И больше я туда не вернусь! Лучше буду ночевать в скверике на скамейке!

Обычно нерешительный Мишка произнёс это так бесповоротно, что Менделевич понял: это серьёзно.

– М-да, одичал ты у аптекарши – тебя нужно срочно реанимировать! Собирайся, переночуешь у меня, а потом я тебя пристрою!

Он увёз Мишку к себе, в уютную, шикарно обставленную трёхкомнатную квартиру в новом высотном доме. Войдя в неё, Мишка ахнул.

– Ничего себе! Не знал, что ты живёшь во дворце!.. Где берёшь деньги? Ведь за нашу зарплату такую квартиру не оплатишь!

– Все свои кооперативные квартиры я поочерёдно оставлял своим жёнам. А вся моя зарплата почти полностью уходит на алименты.

– Откуда же у тебя деньги на такие хомы?! И на такую жизнь!..

– Я разработал систему: одалживаю у кого-то, к примеру, тысячу долларов. Спустя какое-то время, у другого одалживаю две тысячи, тысячу отдаю первому, а тысячу – на квартиру. Потом у следующего – три... И так далее.

– И до каких пор?

– До смерти.

– Так это же вариант финансовой пирамиды! Пострадает последний, не сможешь отдать.

– Смогу. В завещании указано: я завещаю свою квартиру, чтоб рассчитались с моими кредиторами.

– Но у тебя же съёмная квартира.

– Вот её я и завещаю.

Он рассмеялся. Мишка скривился.

– Но это же непорядочно!

Менделевич хмыкнул.

– Порядочность!.. Пора забыть это слово. Умница Раневская говорила: «Я настолько стара, что ещё помню порядочных людей». Это было ещё лет пятьдесят назад!.. Поверь, скоро слово «порядочность» войдёт в группу архивных выражений и понятий, типа: добрый молодец, красна девица, скатерть самобранка... Или таких эпитетов: справедливый, честный, неподкупный, благородный... Что касается меня, то успокойся: я уверен, до смертного часа я успею купить квартиру, и не одну, так что мой кредитор не пострадает! А пока... – Он вытащил из холодильника бутылку виски, поставил на стол какую-то закуску. – Выпьем за твою новую жизнь.

Они чокнулись.

Мишка всё ещё не мог прийти в себя.

– Эта импортная мебель тут была или ты покупал?

– Я кое-что прикупил: сервант с инкрустацией, китайский ковёр, турецкий диван, итальянскую тахту, кресла... Это производит убойное впечатление на дам, которых я привожу: у них перехватывает дыхание, они не успевают сказать «нет», когда я их укладываю на эту тахту... Как ты понимаешь, при моих потребностях зарплаты никогда не хватало, приходилось подрабатывать. Например, в субботы и воскресенья ездил по райцетрам и деревням, демонстрировал коллекцию кепок Ленина. Одержимые коммунисты их скупали, расплачивались и деньгами и продуктами, требовали подробностей – я сочинял душещипательные истории из жизни вождя. Чтоб войти в образ, каждую новую любовницу называл Надя...

Ещё был тамадой на свадьбах и на поминках. Работа очень выгодная: напоен, накормлен, одарен деньгами. И ещё, и там и там знакомился с женщинами. С одними веселился, с другими – оплакивал. Главное было – не перепутать, где находишься... Ещё сочинял и сочиняю лозунги, патриотические и анти. Например, за советскую власть. – Он встал в позу и процитировал:

– И в жару и в дикий холод

Нам помогут серп и молот!..

И антиправительственные. – Поменял позу и снова процитировал:

– Мы прошли через войны и голоды,

Не пытайтесь нас с толку сбить,

Не машите серпом и молотом,

Дайте нам спокойно пожить!

Платят неплохо, особенно перед выборами. Но мне надоели временные подработки, хочу иметь стабильный доход. И тебя к этому привлеку. Но это попозже, когда всё обдумаю. А пока спать. Утром временно пристрою, пока не найдём для тебя приличное жильё.

Назавтра Менделевич поселил Мишку в общежитии музыкального училища. Комендантша этого училища была одной из его любовниц, она согласилась пустить Мишку при одном условии: «На глаза мне не попадаться, я ничего не знаю и знать не хочу, пусть скрывается от меня в комнатах у девчонок, они мужиков любят – припрятут».

Общежитие было женским, три этажа, на каждом по четыре комнаты, в каждой комнате по четыре жилицы. Все они были иногородними искательницами счастья и приключений. Мишку приняли хорошо, называли Майкл и пускали его в свои комнаты по графику. Когда комендантша делала обход, девицы прятали Мишку под кроватью, когда она уходила, он перебирался в кровати, владелицы которых его охотно принимали к себе под одеяло. Желаящие получить его вне очереди, завоёвывали это право, поставив соседкам бутылку вина или шоколадный торт.

С короткой стрижкой и подстриженными усами Мишка напоминал усатого ёжика. Кончики его усов, как стрелки часов, показывали не время, а настроение: если считать его лицо циферблатом, стрелки, повисая вниз, постоянно показывали без двадцати четыре. Но после переезда в общежитие его настроение стало улучшаться и усы-стрелки на циферблате его лица теперь задирались вверх и показывали

более оптимистичное время: 10 часов 10 минут.

Мишка прожил в этом общежитии целую неделю, ему понравилось, он не хотел покидать свой гарем. Только когда Менделевич снял ему однокомнатную квартирку недалеко от своей высотки, он вынужден был распроститься с гостеприимной обителью.

Однажды, когда Менделевич на своём старом «Форде» вёз их домой, Мишка вдруг спросил:

– С твоей энергией и изобретательностью, почему ты до сих пор не уехал за границу?

– Я не крыса, чтобы бежать с тонущего корабля.

– Но мы же действительно тонем.

– Так надо. – И, предотвращая следующий вопрос, пояснил. – Запомни: всё, что с нами происходит, запланировано межпланетным разумом.

– Ты веришь в межпланетный разум?..

– Конечно.

– Тогда почему он не выходит с нами на связь?

– Он ждёт.

– Чего ждёт?

– Пока мы не уничтожим друг друга. А потом запрограммирует новую породу людей, более разумную. Но пока это не произошло, надо жить и наслаждаться жизнью. – Менделевич резко прижался к тротуару и остановил машину возле кафе с завлекательной вывеской: «Ешь, пей – не хочу!» – Вижу, ты уже созрел для серьёзного разговора – давай зайдём, возьмём по рюмке, посидим, потрепемся.

Мишка замялся.

– Но у меня... Ещё два дня до зарплаты. Идём, идём – я угощаю.

Когда они опрокинули по первой рюмке, Менделевич произнёс:

– Мы дожили до перестройки, стали хозяевами жизни – пора зарабатывать деньги.

– Это ты – хозяин жизни, а я у неё – квартирант.

– Пора становиться хозяином. Хватит ползать, попробуй взлететь.

– А если я рождён ползать?

– Рождённый ползать, если он не трус, может всего достигнуть быстрее, чем трус, рождённый летать. Давай займёмся бизнесом?

– Ты что!.. – Мишка в ужасе замахал руками. – Я от этого так далёк! Даже само слово «бизнес» меня пугает, оно мне и неприятно, и противно, и навевает тоску и ужас.

– Это смотря какой бизнес. Он бывает тоскливым или весёлым. Тоскливый – это собирать мусор, чистить канализацию, отгружать уголь... Скучно зарабатывать деньги, а потом стараться весело их потратить. А весёлый бизнес – это сразу получать кайф, одновременно, когда само зарабатывание денег – процесс радостный.

– Что ты имеешь в виду?

– Ну, например, открыть бар, куда будут приходить мужчины, чтобы развлекаться с женщинами, и женщины, чтобы найти мужчин, которые бы их развлекали. А мы, если будем хозяевами такого бара, сможем и зарабатывать и развлекаться. Наша жизнь станет сплошным праздником. А если мы этот бар превратим в неофициальный бардак – там отбоя не будет. И деньги польются рекой, и все балеринки и официантки будут наши!.. Надоест – поменяем, возьмём новых!

– Кто тебе позволит открыть бардак?

– А кто запретит? Мы это сделаем не в лоб, а с намёком. Я всё продумал: сегодня уже есть названия баров «Шик», «Флаг», «Дик»... А мы свой бар назовём «Дак».

– Чего это вдруг?

– А почему нет?.. По – английски Дак – это утка, нарисуем утку, и никто не придерётся. Всё официально, зато как завлекательна вывеска: «Бар «ДАК»!.. Представляешь, как народ пойдёт!

– Где мы возьмём деньги на его открытие?

– Одолжим. – Увидев, что Мишка снова ужаснулся, успокоил. – При наличии бара мы очень быстро рассчитаемся с кредиторами... Словом, вперёд в новую жизнь!.. Только не ешь эту отбивную – она ужасна!

Он брезгливо отодвинул тарелку, подзвал официанта, потребовал счёт и посоветовал:

– Вам надо сократить название вашего кафе: уберите с вывески «Ешь, пей», оставьте только «Не хочу!»

Через пару месяцев бар «Дак» открылся. Открытие прошло очень шумно, было много спето, выпито и даже произошли две попытки изнасилования танцовщиц. Это вызвало повышенный интерес и назавтра бар был переполнен, а у входа шумела толпа желающих прорваться.

И началась новая жизнь Мишки-Норушко.

Каждый вечер он шёл в свой бар «Дак». Первую неделю они с Менделевичем обходили столики, приветствовали посетителей, наливали им виски из принесенной бутылки, чокались с каждым и выпивали. Менделевич называл эту акцию «приманкой для создания постоянного контингента». Каждый вечер Мишка напивался до состояния мягкой игрушки и был уверен, что до утра уже не доживёт. Но постепенно привык, и ему это даже стало нравиться, потому что Менделевич для его отрезвления каждую ночь «прикреплял» к нему очередную девицу из танцовщиц, которую сам уже предварительно «опробовал». Постепенно в Мишке накапливалась уверенность в себе, прорвался гейзер сексуальности, ранее сдерживаемый. Ни одну ночь он уже не проводил в одиночестве. Поэтому вечером, перед походом в свой бар, ел кашу, в которую замешивал несколько таблеток Виагры. Его ширинка стала напоминать будку, из которой периодически выскакивал похотливый, возбуждённый пёс. По мере роста уверенности в нём просыпался атакующий патриотизм. Особенно во время полового акта.

– Крым наш! – рычал Мишка на пике оргазма. – Наш! Наш!...

– И Аляска наша! – подстанывала ему очередная подруга. – Аляска!.. Алясочка!..

Анализировать эту новую жизнь было некогда: с вечера он напивался, утром опохмелялся, в промежутках спал. И лишь иногда, в минуты просветления, его охватывал ужас: он понимал, что проживает чужую жизнь, прицепившись к жизни Менделевича. Так в детстве мальчишки однажды подбили его, катаясь на коньках, прицепиться к проезжающему мимо дома грузовику – от скорости захватило дух, сердце стучало так, будто пыталось вырваться из грудной клетки, но отцепиться среди потока мчавшихся машин было страшно. Спас милиционер-регулировщик, который притормозил движение и дал Мишке возможность остановиться и удрать. Тогда он спасся, но теперь... Теперь, увы, никто его не останавливал, наверное, потому, что душевных регулировщиков сменили бездушные светофоры.

Иногда он посещал бывшую семью.

Сын служил в армии, в Сибири. Дочь вышла замуж, развелась, но до развода успела родить двоих детей. Старшая внучка уже ходила в первый класс, младшая – в детский садик. Обе они называли Мишку – дядя Деда.

Тесть, бывший капитан милиции, получив майора, был вытолкнут на пенсию. Мишку он теперь уважал и обращался к нему по имени-отчеству. Особенное уважение проявлял, когда Мишка подкидывал дочери несколько сто долларовых купюр. Тесть поил его чаем и нещадно ругал нынешнюю полицию и нового зятя, который прячется от алиментов.

Этот зять когда-то был цирковым клоуном. Но однажды, сломав ногу, стал сильно хромать, кувыркатся по арене уже не мог и остался в цирке униформистом. Перед новым годом брал двухнедельный отпуск за свой счёт и выступал в детских садах, изображая деда Мороза, который,

якобы, так спешил к детям, что повредил ногу. Несмотря на хромоту, выдерживал по восемь-десять выступлений в день и за две недели каникул зарабатывал больше, чем за полгода униформистом. Правда, половину из них он тут же пропивал с друзьями-собутыльниками. Не выдержав этих запоев, дочь, поощряемая родителями, с ним развелась.

Тёща, износив одежду мужа, стала дома носить одежду бывшего нового зятя: летом – красную цирковую униформу, а зимой – белую ватную шубу деда Мороза и его валенки.

Однажды, проведя особенно бурную ночь, Мишка проспал до позднего вечера. С трудом поднялся, хлебнул из бутылки «опохмелку», подошёл к окну, открыл его – пахло холодом, по асфальту двора была размазана осенняя слякоть, небо заляпано чёрно-серыми пятнами туч. Застывшей улыбкой примёрз к небу молодой месяц.

Он закрыл окно. Подошёл к зеркалу, стал рассматривать своё лицо. Оно его не порадовало: щёки обвисли, сквозь поредевший ёжик просвечивалась агрессивная лысина. Остатки неусвоенного спиртного хранились в больших синих мешках под глазами.

Стало грустно. Он вытащил из холодильника памяти прокисшие вчерашние воспоминания и попытался залить

их сладким соусом завтрашних надежд. Но надежды тоже оказались прокисшими:

– О чём ты с такой грустью вспоминаешь? – спросил приехавший за ним Менделевич.

– О нормальных деревянных дверях в квартирах, не обитых железом. О проходах в любое учреждение без проверки металлоискателями. О честном слове, о котором сегодня забыли, которое заменил заверенный нотариусом договор... Даже о прежних лозунгах: «Мы все за мир!», «Русский с китайцем – братья на век!», «Народ и партия едины!»

– Это же были лживые лозунги.

– Да. Но я в них верил. Верил!.. Правительству, полиции, судьям, домоуправлению!.. Хочу и сейчас верить, хоть во что-нибудь, кому-нибудь... Дай мне хотя бы малюсенькую, но веру, чтоб я верил, что это правда, что это произойдёт.

– Хорошо, даю: мы сейчас поедem в наш бар «Дак», заработаем ещё пару тысяч долларов, напьёмся «Хеннеси» и перетрахем наших танцовщиц, кого захотим, на выбор!.. Ты в это веришь?

– Верю. В это я верю, – грустно произнёс Мишка.

– Тогда вперёд!

Мишка сник, вздохнул, покорно поднялся и пошёл в кухню поглощать очередную порцию каши с Виагрой.

КОГДА ПЫЛЬ ЛЕГЛА НА КОЛЕНИ ПОКИНУТЫХ МЕСТЕЧЕК...

«Убийцы пришли ночью, когда лишь луна стучалась в темные окна дома. Они сунули Лизаньке в кулачок две спички, у одной из которых была отломана желтая головка, и отдали маму с отцом на волю жребия. Обломанная спичка выпала отцу...» Убийцы профессионально повесили отца. Потом, хотя ей выпала целая спичка, забили до смерти мать. Это из рассказа Цви Прейгерзона «В начале месяца Ава».

Полное собрание рассказов этого замечательного писателя под названием «В лесах Пашутовки» вышло недавно в московском издательстве «Книжник» в рамках уже многотомной серии «Проза еврейской жизни».

В убогих декорациях Пашутовки, являющейся собирательный образ местечка, разыгрываются уморительные комедии и душевраздирающие трагедии. Последних, увы, куда больше.

Пашутовка – это и Шепетовка, где родился Цви-Гирш, и Красиловка, где Израиль, его отец, рабочий человек, мыловар с печальными глазами, любитель поэзии, влюбился в Рахиль из рода раввина Дова-Бера Карасика и сделал ее своей женой, и множество других местечек, куда заносило молодого автора в поисках утраченного духа настоящего еврейства. Вот и в славном Бердичеве в конце 20-х годов прошлого века уже трудно найти достаточно людей для кошерного еврейского миньяна. И оттого «на город Бердичев опустилась тоска. Она стекала с крыш, затопляла улицы, смешивалась с жидким глиноземом и висла на ветвях деревьев...»

Одного десятилетия хватило на то, чтобы почти с головой ушел в болотистый омут исто-

рии эрец штетл Пашутовка, виновный разве лишь в том, что его обитатели не так чтобы пахали, зато портняжничали и скорняжничали, ковали и ткали, пекли и шили, молились и следили за кашрутом, занимались другими богоугодными делами с упорной верой в то, что труд и савланут все перетрут. »...Душа народа теплилась тогда в синагогах, в почитании субботы, в ежедневных молитвах: утренняя шахарит, дневная минха, вечерняя маарив, и снова шахарит, и снова минха, и снова маарив...» – рассказ «Мой первый круг».

Но вот «десять лет не был я в родном местечке, и нынешняя картина запустения тяжело отзывалась в моей душе» – из рассказа «Моя мама». Подобно возлюбленной героя рассказа «Мой первый круг» Гите, застреленной восемью подонками, или сошедшей с ума Эстер из рассказа «Дворец счастья», Пашутовку не однажды насиловали вооруженные человеко-звери, «и терпкий запах дегтя стоял в сарае от их вонючих сапог...» Деникинцы, красные, петлюровцы... Несть им числа.

Жирные украинские черноземы обильно удобрены еврейской кровью, удобрены еврейским пеплом. Одновременно обескровились жилы местечек.

О Петлюре – разговор особый. В 1919-м его ордынцы с налитыми самогонкой глазами прошли по родной Цви-Гиршу Шепетовке. И если до набега каждый второй ее житель был евреем, то еще и через двадцать лет при переписи населения таковым оказался только каждый пятый. В годы войны нацисты доистребили еще 5 тысяч. Теперь еврейская община Шепетовки насчитывает всего 200 человек.

В полном соответствии с нынешней абсурдистской реальностью этой несчастной окраины цивилизации в минувшем сентябре в Шепетовке открылась выставка, посвященная предводителю фанатиков антибольшевизма и антисемитизма Симону Петлюре. Абсурд в квадрате – для выставки не нашли лучшего места, чем в шепетовском музее имени Николая Островского, автора гимна во имя победы коммунизма «Как закалялась сталь».

Спустя месяц в Виннице, «столице» петлюровской Директории, с большой помпой расчехлили бронзовый памятник Петлюре, установленный, наверняка не без умысла, прямо посреди еврейского квартала – на улице с говорящим названием Иерусалимка. Взирайте и помните!

А еще в 2009 году к 130-летию со дня рождения Петлюры под увековечивание его памяти отдали в Киеве одну из центральных улиц, во времена его триумфа соседствовавшую с Евбазом – еврейским базаром.

«Он бежал и бежал по пустынным улочкам местечка, и страшные призраки прошлого, как дикие звери, прыгали из тени ему на спину и рвали ужасом его мальчишеское сердце». Это из рассказа «Дворец счастья».

Цви наблюдал за деградацией уютного, родного мира с бессилием и болью, с какими наблюдает любящий сын за отходящей в вечность матерью. Местечко рушилось не только из-за выбитого погромщиками фундамента мирного еврейского уклада. «Наш городок забурлил, стали образовываться политические партии – что ни человек, то партия. Сейчас-то я понимаю, что именно в те дни смерть впервые повернула к местечку свое пустоглазое лицо. 1917 год, перекресток истории, год партий, фракций и митингов!» – рассказ «Мой первый круг».

В рассказе «Машиах бен Давид» назвал он и другую, вытекающую из предыдущей, причину смертельного исхода: «Бурные волны пятилеток смыли последние остатки тех, кто уцелел в годы погромов, и теперь звонкая пустота ходит из дома в дом по переулкам моего детства. Кое-где там еще зеленеет листва, лишь усугубляя картину запустения и утраты.

Первыми уехали молодые – десятки тысяч комсомольцев с горящими глазами хлынули

на просторы огромной страны, чтобы встать в ряды строителей нового мира. А уже затем, последним обломком, снялись с места старики – тогда-то и легла пыль на колени покинутых местечек».

За два десятка лет до этого отец вложил тетрадку со стихами сына в конверт, надписал адрес: Одесса, Хаиму-Нахману Бялику. И – о, чудо! – Бялик не только открыл конверт и вынул оттуда тетрадку, не только прочитал стихи, но и похвалил юного собрата по перу. По совету Мастера родители отправили Цви в новорожденный Тель-Авив, в только что открывшуюся гимназию «Герцлия».

Решающее слово в пользу далекого странствия на пароходе «Иерусалаим» принадлежало отцу, матери осталось смириться и дополнить баул первопроходца зимними ботинками, шерстяными рубашками и пальто на ватине, как будто предстоял ему Северный полюс. Со временем их благодарный сын признается: в «Герцлии» получил такой мощный заряд, что его хватило на всю жизнь.

Первые слова на иврите Цви, правда, услышал еще пяти лет от роду из уст меламеда шепетовского хедера и «пером, как резцом в камне, высекал ивритские слова, бусинками нанизывал букву за буквой и бережно укладывал их в свою тетрадь, в длинные наклонные строчки...» Этот не употребимый тогда в разговорной речи язык описывал величественные события невероятной глубины прошлого, подвиги героев фантастической силы, ума и самоотверженности, формулировал мудрые мысли цадиков и всем тем вошел в мечтательную душу, больше не покинув ее ни на день.

Русский он выучил только год спустя. Этот язык открыл ему путь к Пушкину и Гоголю, Толстому и Гамсуну. Мир стал шире и многообразнее.

Но никогда Цви Прейгерзон не стал писать ни на каком другом языке, кроме иврита, хотя из-за строжайшего запрета на его изучение и употребление в СССР писал «в стол», без малейшей надежды увидеть что-либо опубликованным. Не изменил он любви своей жизни и в 1949-м на пыточных допросах, сопровождаемых издевательствами и рукоприкладством.

Его арестовали в разгар кампании борьбы с космополитизмом вместе с небольшим кружком друзей, тоже верных почитателей иврита. Оскорбленный потоками площадной брани, изрыгаемой на языке великого Пушкина, подследственный Прейгерзон потребовал вести следствие на иврите, после чего был отправлен в холодный и темный, как могила, шкаф два на три метра, называемый карцером. Он слышал стоны и крики, доносившиеся из соседних шкафов-могил, но сам не кричал, а только шепотом повторял одно и то же: «Клянусь всем, что дорого, клянусь, что буду говорить только на иврите». Клятвой выжил.

На новом допросе полдюжины специально вызванных охранников пытались научить его говорить «на человеческом» языке, но, сплюнув сломанные их железными кулаками обломки зубов, Прейгерзон ответил: «Иврит, ах верак иврит!». И... ему дали переводчика. Оказался им ученик Прейгерзона, на самом деле втершийся в его дом сексот и выдавший всю ивритскую компанию.

Наказание Цви отбывал в местностях, известных особой суровостью климата. В очередной такой местности – в Воркуте вспомнили, наконец, о специальности, которую он получил в Московской горной академии, и взяли на должность руководителя научно-исследовательской лаборатории. К счастью, ему не пришлось отсидеть в лагере все десять лет, предписанные приговором. Благодаря хрущевской «оттепели», в 1955-м вышел на свободу по амнистии.

С иврита на прекрасный русский перевел «В лесах Пашутовки» Алекс Тарн. Это благодаря ему «русский» Прейгерзон органичен и тонок, его повествовательный ритм заворачивает.

В статье о большом романе Цви Прейгерзона «Когда погаснет лампада», посвященном истории местечка Гадяч в короткий период между двумя катастрофами – Гражданской войной и Холокостом, Алекс Тарн писал: «Этот писатель подчеркнуто скромнен. Ему чужды амбиции великого пророка, духовной глыбы и матерого пастыря человеческих душ. Прейгерзон пишет только о том, что видел

своими глазами, о том, что получил из первых рук, услышал от непосредственных участников событий. Возможно, поэтому читателя от первой до последней страницы не покидает устойчивое ощущение достоверности».

Полное собрание рассказов Цви Прейгерзона «В лесах Пашутовки» открывается предисловием Дины Рубиной, фрагмент из которого читайте ниже.

Вопреки не покидавшей его мечте, Израиль Цви Прейгерзону больше не суждено было увидеть. Ему удалось преодолеть черту оседлости, но вырваться за железный занавес оказалось не под силу.

«Во сне и наяву приходила ко мне Страна Израиля, склонялась к моему изголовью. Я видел ее в образе тоненькой девушки, дочери Сиона с печальными глазами.

– Мой ли ты, еврейский парень? – спрашивала она и ласково ерошила волосы на моей голове.

– Твой! – с жаром отвечал я. – Твой я всем сердцем, о моя далекая мать!» («Мой первый круг».)

Вернулся Цви Прейгерзон в страну праотцев лишь в писательской своей ипостаси – изданием тайно переправляемых секретными тропами рукописей и для большей конспирации под псевдонимом А. Цфони. Впоследствии – выходом в свет в переводе сына Вениамина первой части неоконченного романа-эпопеи «Врачи», который должен был заканчиваться сталинским «делом врачей». В 2011 году, спустя 42 года после кончины Цви Прейгерзона, Союз русскоязычных писателей Израиля посмертно удостоил его своей премией за лучшую прозу года.

Певец тихого провинциального местечка, всплывающего, словно легендарная Атлантида, в его произведениях из океана забвения, Цви Прейгерзон скончался в 1969 году в громокипящей Москве. Но уже в следующем году урну с его прахом с большими почестями захоронили на тихом кладбище кибуца Шфамим, недалеко от Герцлии. На дорогом ему иврите в камне высечена простая и правдивая надпись: «Здесь похоронен Цви Прейгерзон, ивритский писатель, ученый, сын своего народа».

Цви ПРЕЙГЕРЗОН

БУХГАЛТЕР

Из предисловия
Дины Рубиной:

«Том рассказов, названный «В лесах Пашутовки», – это целый мир, трагический и смешной, жалкий в своей терпеливой заботности и величественный в своем беспредельном горе, целый мир персонажей, некогда заселявших города и местечки бывшей черты оседлости. Цви Прейгерзон воссоздает этот исчезнувший мир с поистине бабелевским экспрессионизмом.

«...И тогда я собрал все истории, записанные мною во время странствий из местечка в местечко. Что-то слышал я на лавочке возле полуразрушенной синагоги от древней морщинистой старухи, что-то – из уст молоденькой девушки, которую прибило ко мне волнами страха и безысходности...»

Книга «В лесах Пашутовки» потрясает, оглушает – как может оглушить крик огромной толпы на площади. И точно так же, как толпа всегда разнородна, так разнородны по стилю эти рассказы: то сдержанно суховатые, с оттенком даже документальности, то совершенно фантастичные, то рвущие душу своей поистине шекспировской трагедийной высотой, то комичные, парадоксальные, почти сюрреалистические».

Вот вам история о бухгалтере Шапиро и его галошах.

Это случилось вскоре после того, как в местечко вошли немцы. В первые два месяца они не трогали евреев, но в воздухе витали страшные слухи, и страх перед будущим черной занозой сидел в каждом еврейском сердце. Говорили, что у военного коменданта и бургомистра нет полномочий на проведение акций. Говорили, что для этой цели должна прибыть специальная команда СС. Из ближних окрестностей в городок добирались те немногие, кому повезло уцелеть после массовых убийств. Их жуткие рассказы передавались из уст уста, из дома в дом.

Мелкими шажками приблизилась осень, позолотила кроны вязов и лип, укрыла землю пятипалыми ладонями кленов. Вскоре деревья и вовсе облысели; ветер гонял по улицам мертвую листву, обрывал те немногие уцелевшие листки, которые еще держались, цеплялись за материнскую ветку. Затем пошли дожди, и грязевые болотца установились во дворах и на рыночной площади.

Дни были полны скорби – ни лучика надежды, ни крупинки радости. Евреи затаились в домах, ждали, стараясь как можно меньше показываться снаружи. На улицы выходили лишь по крайней нужде – за продуктами, в лавку, на рынок. Но и там торговля шла тайком, будто из-под полы. Израиль Исаевич Шапиро тоже почти безвылазно сидел в своей квартире на улице Шевченко. Пожалуй, об этом человеке стоит рассказать несколько поподробней.

Был он пятидесяти пяти лет от роду, невысок ростом, всегда аккуратно под-

стрижен и чисто выбрит, на носу – очки, в зубах – трубка... – одним словом, типичный бухгалтер. Всю свою жизнь, начиная с молодых лет, он сидел над счетами и конторскими книгами, морщил лоб и вписывал цифры в клетки всевозможных таблиц. После установления советской власти Шапиро работал главбухом в городском отделе торговли. Каждый день ровно в одно и то же время он выходил из дома ради того, чтобы, как оно и полагается ученому человеку, усесться на деревянный стул, прикрытый во избежание излишних геморройных страданий плоской цветастой подушечкой. Усесться – и писать, вычеркивать, считать, проверять, пересчитывать – то есть делать все то, чем занимаются бухгалтеры везде и повсюду.

В этом, собственно говоря, и заключалось жизненное предназначение Израйля Исаевича Шапиро. Впрочем, не чуждался он и общественной нагрузки: усердно собирал профсоюзные взносы, составлявшие один процент от зарплаты. Эту работу Шапиро исполнял столь же ответственно и безотказно, сколь и любую другую. Взяв деньги, он аккуратно наклеивал в соответствующую графу марку и припечатывал ее идеально точной печатью.

И вот все это вдруг кончилось, прошло, как не бывало. Война одним махом выбила Израйля Исаевича из повседневного рабочего расписания жизни. И вот ходит он, совершенно непривычный к безделью, из угла в угол своей аккуратной комнаты, ходит и обдумывает гуляющие по местечку слухи. Но сами посудите: сколько может ходить такой человек из угла в угол, не сходя при этом с ума?

– Пойду, пожалуй, пройдуся, – говорит Шапиро своей жене Саре, которая возится в это время на кухне, как возилась там ежедневно, без какой-либо связи с тем, что происходит за стенами дома. Ей, Саре, не понять, каково это – одним махом лишиться привычного дела.

– Ты либо свихнулся, либо одурел! – возражает она мужу.

И действительно, можно ли выходить из дому в такое смертельно опасное время?! Да еще и без крайней надобности – «пройтись»?! Слыханное ли дело – прогуляться ему захотелось! Но упряма не переубедить – не помогают ни крики, ни слезы, ни доводы разума. Шапиро надевает пальто, натягивает на ноги новые галоши и выходит в топкое болото уличной грязи.

Ноги сами несут его к двухэтажному зданию на улице Фрунзе, где в советские времена размещалась контора городского отдела торговли. Правда, на сей раз Шапиро не идет, как обычно, напрямик, а выбирает кружную дорогу, обходя стороной центр городка. Там, в центре, теперь находятся немецкая комендатура и резиденция бургомистра. Там можно наткнуться на полиция или солдата, а такая встреча вряд ли сулит добро прохожему еврею.

В контору входят со двора – по крайней мере, это осталось по-прежнему. Дверь в помещение распахнута, в комнатах беспорядок. Осторожно обойдя разбросанные по полу бумаги, Шапиро пробирается к своему месту, садится, и застывает с закрытыми глазами. Подушечка куда-то запропастилась, и стул непривычно жесток. О чем он сейчас думает, этот безработный главбух? Просидев так несколько минут, Шапиро встает и прислушивается. Повсюду царит странная тишина, тишина запустения. Ничего не осталось – ничего и никого.

Но нет: выйдя в коридор, Израиль Исаевич натывается на сторожа Трофима. Только он и остался от прежней власти, этот неуклюжий сторож.

– Здравствуй, Трофим, – приветливо говорит Шапиро, – что нового слышно?

Трофим сидит на корточках у открытого зева печки и заталкивает туда топливо – пачки бумаги, исписанной с обеих сторон. На лице сторожа играет красноватый отсвет от пляшущих в печи языков пламени. С равнодушным видом он сует в печь бухгалтерские блокноты, канцелярские дела, папки.

Было время – по этим листам гуляло аккуратное перо Израиль Исаевича, сводя кредит с дебетом, помечая сальдо и производя прочие хитроумные бухгалтерские операции. Сюда, в эти бумаги, вложены мысль, и опыт, и ответственность, и работоспособность главбуха Шапиро и его коллег. И вот – вы только поглядите! – какой-то угрюмый сторож рвет плоды этого немалого труда и, даже не глядя, бросает их в топку...

– Что слышно, дружище Трофим? – с некоторой, не совсем свойственной ему игривостью повторяет Израиль Исаевич.

Эта игривость одолжена им из прежних счастливых дней. Как будто Шапиро только-только вернулся из удачной командировки в областной центр, куда ездил сдавать годовой финансовый отчет. Как будто вот прямо сейчас он энергичной походкой войдет в свою комнату, пожмет руки товарищам по работе и, поправив галстук, постучится в дверь к «хозяину» – начальнику отдела товарищу Яковенко. А потом, после короткой беседы с начальником, вернется к себе, раскурит трубку, водрузит на нос очки и, глянув в счетные таблицы, впишет нужное число в нужную графу. И снова: таблицы – число – графа, таблицы – число – графа... Всё, как положено, всё, как заведено в правильном порядке бухгалтерской жизни.

Но, похоже, сейчас эта игривость вовсе неуместна. Сторож Трофим поворачивает к бухгалтеру свое плоское равнодушное лицо. Маленькие глазки оглядывают бывшего главбуха с ног до головы – от новых поблескивающих галош до шляпы с широкими полями. Раньше в ответ на подобный вопрос Трофим вскакивал со своей скамьи и, вытянувшись во фрунт, радостно рапортовал: «Никак нет ничего нового, товарищ Азриил Ясаевич!» Но это – раньше; сейчас сторож угрюмо отворачивается и, не меняя позы, бурчит себе под нос всего лишь одно слово:

– Ничего.

Бурчит и продолжает загружать в печь бухгалтерские книги и блокноты. Сторож

топит печь не просто так, а с целью. Над языками пламени установлен мятый солдатский котелок с нечищеными клубнями картошки. Вода в котелке булькает и пузырится, кое-где кожура на клубнях треснула от жара, обнажив нежную желтоватую сердцевину. Израиль Исаевич тоже присаживается к печке и вытягивает к огню короткопалые руки – погреться. Руки у бухгалтера морщинистые, сквозь тонкую кожу видна сеточка сосудов, на тыльной стороне ладоней – седоватая поросль. Он все никак не хочет расстаться с Трофимом, с единственным оставшимся свидетелем прежней жизни.

– Сварилась твоя картошка, – говорит Шапиро, потирая ладони.

Трофим бурчит в ответ что-то и вовсе неразборчивое. Зато огонь вспыхивает с новой силой, жадно пожирая плоды бухгалтерского труда. Сторожи не о чем разговаривать с этим евреем. Все они удрали от немца. Все разбежались, как зайцы, – и начальники, и помощники, и секретарши. Только он и остался, сторож Трофим, с зарплатой в сто двадцать рубликов. А как прожить на сто двадцать рубликов, когда одна поллитровка стоит шесть? Взять хоть этого еврея Азриила Ясаевича – он-то, небось, не на такой зарплате сидел! Он-то, небось, шесть сотен заколачивал, а то и восемь. Ну, ничего, заколачивал и буде. Нынче, говорят, вырежут их всех к чертовой матери. И пусть вырежут – уж он-то, Трофим, не заплачет.

– Они сюда не приходили, Трофим? – спрашивает Шапиро.

Пока нет, не приходили. Вход со двора – вот тебе и все объяснение. Сразу не заметили, да и сейчас еще руки не дошли. Израиль Исаевич распрямляется и возвращается в рабочие помещения. Боже, какой ужасающий беспорядок! Обрывки бумаг валяются на полу, на столах. Зато на стене висит еще стенгазета с заметками довоенного времени. Экономист Коваленко позволила себе опоздать на целых двадцать пять минут! Этому вопиющему случаю посвящены карикатура и разгромная статья.

«Доколе лентяи и дармоеды будут сидеть на шее советского государства?! Почему начальник отдела товарищ Яковенко не отдал гражданку Ольгу Коваленко под суд, как того требует закон от тридцатого июня? И до каких пор общественность торгового отдела будет терпеть это безобразие?»

А вот и карикатура: большие настенные часы показывают двадцать пять минут десятого, а под часами безобразная фигура с непропорционально большим черепом и тоненькими ножками. Фигура обозначает опоздавшую Ольгу Коваленко, которая пытается незаметно проникнуть в контору, где вот уже двадцать пять минут кипит работа!

Господи-Боже, как давно это было! Какими нелепыми кажутся сейчас эти проблемы! В комнату заглядывает из коридора сторож Трофим. Он стоит на пороге, угрюмо смотрит в пол и молчит.

– Что ты хочешь, Трофим?

Трофим указывает на галоши главбуха. Начались дожди, нужна подходящая обувь, а он ходит едва ли не босой.

– Снимай галоши, Азриил Ясаевич!

Бухгалтер Шапиро теряет дар речи. Лихорадочные мысли роятся в его голове. Что он несет, этот гой? Отдать ему галоши – видали?! А как сам Израиль Исаевич доберется домой без галош по грязи и по лужам? Не он ли всю жизнь берегся от влажности, простуды, подагры, кашля, насморка? И потом, грязь может испортить ботинки. Хорошо же он будет выглядеть, вернувшись домой! Можно представить, какой концерт устроит ему Сара! Старые галоши совсем стоптались, уже не годятся. Отнести их, что ли, к Ицику-сапожнику, авось залатает...

– Они малы тебе, Трофим, – говорит он вслух слабеющим голосом.

– В самый раз, – отвечает сторож. – Тринадцатый размер.

– Вот видишь! У меня одиннадцатый! – с надеждой сообщает Шапиро.

– В самый раз, – с угрюмой угрозой повторяет гой. – Снимай галоши!

А что если он не ограничится галошами? Этот вопрос молнией вспыхивает в голове Израйля Исаевича. Что если гой вот прямо сейчас потребует пальто, шляпу... да мало ли что? Что если гой разденет его донага – ведь может! Может!

Шапиро поспешно стягивает с ног галоши, оставляет их на полу, как кость для голодного пса-людоеда – пусть отвлечется хотя бы на время – и быстро идет к выходу.

– Прощай, Трофим! – машинально говорит он и выскакивает во двор, на улицу.

Серое утро хмурится навстречу главбуху. Что за дурацкая идея была с этой прогулкой! Зачем? Права оказалась Сара... На что он надеялся, чего искал? Неужели рассчитывал, что кто-то здесь встретит его с распростертыми объятиями: «Заходите, дорогой Израиль Исаевич, добро пожаловать! Вот ваш стул, вот ваше перо, вот ваши блокноты...» Что за глупость? Всё теперь иначе, всё! Даже Трофим изменился, и перемена эта, прямо скажем, не к лучшему. Дурная перемена, вовсе не в пользу главного бухгалтера Шапиро! Трофим теперь наверху, в хозяевах жизни, в вершителях судеб. А он, еврей Шапиро, – внизу, на самом дне, близко-близко от смерти.

Поминутно оглядываясь, маленький бухгалтер Шапиро шагает по пустынным улицам местечка. Идет, прижимаясь к заборам, кузнечиком перепрыгивая через лужи, обходя заболоченные места. Делая большой крюк, обходит опасный район центра, где можно наткнуться на полиция, на немецкого солдата, на пулю, на штык, на побои. И кажется Израйлю Исаевичу, что чей-то страшный взгляд упирается ему в спину, взгляд чьи-то хищных, опасных, безжалостных глаз, от которых не скрыться, не спрятаться.

Сгорбившись и став оттого еще меньше, семенит по лужам маленький обреченный еврей. Сейчас забрали галоши... но что будет, когда придут за жизнью? Что будет, что будет?

1945

Перевод Алекса ТАРНА

Алла ЛИПНИЦКАЯ

АНКА

Зимой так холодно и противно стоять на этих не то антресолях, не то чердаке, что они невероятно обрадовались, когда за ними все-таки пришли. Летом, осенью, весной положение было не намного лучше: жара, смешанная с пылью, сырость, всякие болезнетворные микробы и невидимая глазу радиация не давали им расслабиться ни на минуту. От сдавленности и духоты в хрупких телах поселилась ломота, деревья вокруг жухли и увядали, небеса скукоживались, и речь даже шла о возможной потере времени и пространства. Уже несколько лет они только и делали, что ждали определенности, как затянувшегося решения суда, но созданные легкими и терпеливыми, дышали тихо и ровно, надеясь на лучшее. Они размещались по одному или группами на десяти больших холстах, бережно составленных художником в углу довольно просторного, но заваленного разными предметами помещения над огромной старинной квартирой в центре Киева.

Квартира принадлежала приятелю художника, тоже художнику, жизнь которого постоянно висела на волоске из-за его неогреченной современниками несомненной гениальности, а также из-за невероятного количества страданий и обид, которые постоянно сваливались на несильные плечи художника из рук его домочадцев.

Сама же квартира была необыкновенно уютной. В центре большой комнаты висел абажур. Из-под золотистой бахромы по вечерам выбивался теплый свет и охватывал стены и углы, освещая картины в тяжелых рамах, высокие цветы в квадратных горшках, кресла и стулья с сохранившимися запахами, громоздкий прямоугольный стол,

накрытый бархатной потертой скатертью, а на нем фарфоровые чашки, тарелочки, блюдецки, вазочки, серебряные вилки и ложки с марками самых известных европейских заводов.

Такая атмосфера не могла не нравиться художнику, пристроившему свои работы у приятеля на чердаке. Вот-вот он улетал в другую страну, в душе его царил сумбур, и недели две перед отъездом он каждый вечер захаживал к приятелю попить чайку. К тому же, на антресолях временно обустроились его дети (так называют плоды своего труда многие люди, не только художники), он не хотел с ними надолго расставаться и был счастлив, что они укрыты в надежном месте. Причина, по которой он собирался переезжать, была какого-то чрезвычайно беспокойного свойства, поэтому лучше ее не касаться.

Ну вот. Он уехал. И пропал. Надолго. Потом периодически, раз в год, иногда реже, иногда чаще, звонил, извинялся, что не может (пока) забрать картины.

Наконец-то за картинами пришли. Бесплотные фигуры на холстах зашевелились, зашептались в своих странных красочных мирах. Разноцветные, несколько потускневшие ангелы, влюбленные, инопланетяне, путники, люди без определенных занятий (уехавший художник не был реалистом, но был горазд на выдумки), столько времени простоявшие без дела в углу, были взволнованы и напуганы происходящим: шумом и криками внизу, ссорились двое мужчин, но когда в открывшемся люке появилось бородатое лицо, белая шея, а потом и вся плотная фигура

молодого мужчины, вытащившего картины на Свет Божий, веселью и ликованию чердачных обитателей не было предела. Хотя радостью своей они могли поделиться только со своими же, но и этого было достаточно. «Вы слышали?» – шелестел расправленными крыльями утопающий в снегу ангел. «Слышали и видели», – вторили вдруг обнявшиеся влюбленные по дороге на небо. Среди колец, треугольников, овалов, прямых и завихренных линий, цветения дольного мира ликования небес еще ползали мелкие букашки, торчали тонкие прилипшие травинки, чернели короткие волоски, неровным серым слоем топорщилась пыль... Но все они, все без исключения уже были на свободе!

Их снесли вниз по деревянной лестнице.

Правда, одна обнаженная женщина отделилась от гущи цветущего сада и выпрыгнула из глубины картины прямо в сугроб у крыльца. Произошло это потому, что унесший картины незнакомый человек показался ей подозрительным. Никто не заметил исчезновения одной фигуры. Холсты погрузили в широкий черный автомобиль и повезли по заснеженной дороге.

Поскольку выпавшая обнаженная была совершенно голой, как душа создавшего ее художника, то удар огрубевшего за ночь сугроба пришелся ей прямо по неустоявшемуся хребту, э-э-э, пардон, лучше позвоночнику, вообще, с этим трудно определиться, так как прежде, чем превратиться в реальную женщину из плоти и крови, она прошла стадию выползния, другие стадии, так что на шапке сугроба осталась голубоватая твердая корочка, похожая на выползок, наружный ороговевший покров, который гусеница, другое насекомое или змея, теряет во время линьки. Надо сказать, все случилось молниеносно: обнаженная с картины превратилась в настоящую женщину, правда, чересчур сублинную.

Она вылезла из сугроба и едва держалась на невесомых ногах, еще плохо соображала, так как никогда не жила в современном мире и не знала, куда податься. Мороз щипал ее худое тело и бледные щеки, стоять

на одном месте стало невыносимо, и она побрела по дорожкам белого парка, раскинувшегося перед ней. Благо, ранним утром в парке никого не было. Зимние птицы перепархивали с ветки на ветку, при этом с деревьев и кустов осыпался сухой снег, женщине такое зрелище показалось занятным, но было холодно, холодно и беспокойно. Она загрустила о том времени, когда неподвижно стояла в центре жаркого сада, пригвожденная к холсту. Инстинктивно прячась за деревьями и домами, женщина прошмыгнула к только что открывшемуся магазину женской обуви и одежды. Стянутая узким костюмом упругого телосложения продавщица что-то поправляла под столом заказов, наклонившись глубоко и фривольно. Ее попка, похожая на экзотический фрукт, то и дело поднималась и опускалась посреди приодетых добропорядочных манекенов. Женщине хватило одной-двух минут, чтобы схватить первую попавшуюся одежду и выскочить из магазина. Не будем забывать, что ее тело пропускало через себя свет и в утреннем сумраке полупроснувшегося помещения почти сливалась со всем, что в нем находилось.

Она оделась тут же, за углом. Вполне прилично. Особенно прилась ей по вкусу короткая темно-коричневая шубка из искусственного меха. Вот только светлые полусапожки оказались тесноватыми.

И сразу же женщина ощутила будоражащий свежий запах чего-то романтического, как подгорелая мечта, как секс на рассвете, как свежая газета с кричащими заголовками, как сдвинутые на одном пиршественном столе дымящиеся чашки и стаканы всей Вселенной – утренний кофе! Булочки и пирожные причудливых форм и вкусов, розовые пакетики с сахаром, крошечные шоколадки, непритязательные сэндвичи... Она уже понимала толк в разных маленьких радостях. Женщина открывала для себя мир как ребенок, только в миллион раз быстрее и острее. Она чувствовала себя самостоятельной, даже самодостаточной, знала, что происходит вокруг, просто не всегда адекватно оценивала.

С милой улыбкой она зашла в близлежащее кафе и под села за столик к молодому человеку, наслаждавшемуся началом дня. В его руках благоухала огромная чашка с пузырящейся темной жидкостью. Сделав вид, что забыла дома кошелек, женщина беспомощно посмотрела на своего соседа. Он, конечно, угостил ее, попросив при этом телефон. Она быстро написала на салфетке первые пришедшие в голову цифры. Он, не посмотрев, спрятал салфетку в толстый коричневый кошелек. «Как вас зовут?» – спросил мужчина. «Анка», – ответила женщина. «Анка?» – переспросил он, – «пусть будет Анка», – и загадочно улыбнулся.

Так бродила Анка по улицам города до самого вечера, так училась она жизни, заговаривала с людьми, заглядывала им в глаза, иногда обманывала их, иногда обманывали ее. Даже поработала пару часов посудомойкой в ресторане – за обед, заменила заболевшего дворника, разгребая снег на тротуаре, – случайное знакомство! – и теперь в кармане у нее было немного денег. Мир открылся ей прекрасным, но без прикрас. Много чужого горя и боли пропустила Анка через свое искусственное сердце всего за один день. И от этого сердце ее стало большим, оно гулко билось и даже мешало ей, оно стало почти как в сказке Андерсена, – настоящим. Время раздвинулось, так иногда бывает, день превратился в целую жизнь, – вокруг нее пролегали удивительные улицы с роскошными домами, ездили добротные автомобили, подчас похожие на катафалки, выстраивались и разрушались личные миры, каждая отдельная катастрофа выглядела как извержение вулкана или гибель звезды. Анка была глуха к требованиям времени, поэтому она наслаждалась или горевала в зависимости от обстоятельств, не умея приспособиться к ним и быть объективной. Черты стиля конкретной страны, конкретного десятилетия, конкретной политики мало занимали ее. Все-таки сказывалось ее происхождение и долгое пребывание на чердаке.

Больше всего Анку волновали запахи. Когда запах кофе, снега, человеческого дыхания перебивался тяжелым чадом кон-

курении, она почти теряла сознание. Чаду клубился на каждом шагу и уже заслонял нежаркое зимнее солнце, стремившееся к закату. И тут Анка уловила родной запах, который остановил ее. Она почувствовала, что очень устала. Оглянувшись, подняла голову и увидела, что стоит у знакомого дома. Дом располагался с противоположной стороны улицы. В незашторенных окнах второго этажа горел свет, видны были разбросанные книги, вещи. «Я здесь жила», – подумала Анка, перешла на другую сторону, поднялась на второй этаж и позвонила в темную дверь. Ей открыла немолодая женщина, с которой она точно была знакома. «Вам кого?» – спросила женщина. И Анка вдруг все вспомнила. «Извините, здесь живет ...» – она назвала имя художника. «Что Вы, голубушка, он давно уехал в другую страну, мы разошлись, я о нем почти ничего не знаю. А Вы, наверное, натурщица? Проходите, проходите, раздевайтесь». Анка никогда не была натурщицей, но согласно закивала головой: «Да-да, натурщица».

В первой комнате мало что изменилось с тех пор, как здесь жил художник. Только выглядела она как в Королевстве Кривых зеркал. Помимо шкафа с открытой дверцей, круглого хромого стола, уставленного дешевой посудой, продавленного дивана, на котором спала хозяйка, в углу стоял перекошенный мольберт. Рядом с ним на полу валялись сломанные карандаши, задубевшие кисти, краски, а также полупочатая жестяная банка с разведенными белилами для домашнего пользования. Краска была свежей, видно, хозяйка что-то красила в квартире. Анка заглянула во вторую комнату, в ту, где всегда стояли и висели картины художника. Она была совершенно пустой. Только на стене одиноко болтался маленький пейзаж в облупившейся раме, великолепный зимний пейзаж старого мастера, кажется голландца, которого очень любил художник. «Вы знаете, перед отъездом он разнес свои картины по домам друзей, мне ни одной не оставил. Вот только эту», – женщина махнула рукой в сторону пейзажа, – сказал, «Деньги будут нужны – продашь».

«Мы с ним ...» – и женщина стала рассказывать Анке об их ссорах, своих невзгодах, она говорила долго и подробно, сидя, не шевелясь, на старом стуле. При этом все время складывала губы, ладони рук, ступни ног лодочкой, как бы выдвигая их вперед, и от того казалось, что она рассекает волны мирового океана, за которыми прячется художник. «Ни разу не написал, не позвонил, от знакомых только и знаю где он», – и она назвала город, в котором теперь жил художник. Анка запомнила.

Женщина пошла на кухню за чаем. Пока она ходила, Анка быстро оделась, подняла с пола банку с краской, накрыла ее крышкой, спрятала на животе под шубкой, попрощалась с хозяйкой и ушла, сославшись на дела.

У нее появилась ясная цель: добраться до аэропорта и караулить удачу. Сердобольный таксист, ехавший встречать кого-то, подбросил Анку за крошечную сумму, которую она обнаружила в кармане шубки.

Так случилось, что группа паломников, собранных со всей Украины, человек сто, в основном, женщины, летели в Иерусалим, Вифлеем, Назарет. Некоторые из них тоже ночевали в аэропорту – приехали накануне отлета. Когда утром руководитель отлета делал перекличку, то, почувствовав заминку при чтении одной из фамилий (кого-то не оказалось на месте), Анка на свой страх и риск среагировала «Я» на чужое женское имя, а поскольку документы были на руках руководителя, их раздали только перед самым вылетом, то все и обошлось. Длинная вереница паломников выстроилась у двери с надписью «Exit»: полные бородатые священнослужители в черных рясах, уверенные в правоте своего дела; молодые, со строгими бледными лицами, а также седовласые прихожанки разных приходов с голубыми мечтательными глазами, еще более уверенные в правоте, и все, как одна, влюбленные в одного давно умершего человека, – несокрушимое Солнце. Пришедшая последней несла пакет, набитый толстыми книгами, она еле передвигала ноги в огромных шлепающих башмаках, задыхалась и, казалось, летела на Святую Землю умирать.

Наконец, толпа дрогнула и бодро зашагала, преодолевая последние преграды на своем пути. Прелестные девушки выдали во время регистрации посадочные талоны – Анку пропустили к самолету. Налегке. С пакетом в руке.

Ее место оказалось в большом салоне, в основном, заполненном паломниками, и очень скоро, задолго до общего завтрака, они стали разворачивать пакеты с котлетами, огурцами, луком и чесноком. Эти запахи смешались с запахом пота, а также сладких духов, который исходил от молодой черно-волосой и черноглазой женщины удивительной привлекательности. Она сидела среди паломниц, но была на них совсем не похожа. Пышная, одетая в бело-розовое платье с глубоким декольте, с воздушным шарфом вокруг молочной шеи, она напоминала куст пионов на провинциальной клумбе. Она без конца рассказывала сидящей рядом задыхавшейся Анке, как смело вела себя на таможне. «Никого не проверяли, только меня, я им говорю, – ищите, ищите, наркотики, оружие, золото». А один таможенник: «Смотрите, вы дошутитесь!». «Вот чудики!». Она покрутила обручальное кольцо на пальце: «А там еще не поверят, что я паломница, а я и вправду еду отдохнуть, на море поваляться, у меня свой маршрут, к ним (она кивнула в сторону паломников) так присоединилась, по случаю, с ними дешево, у мужа денег попросила – дал». Женщина вертелась в кресле, приподнималась, с восторгом смотрела в окно иллюминатора: «Вот, на крыльях иней появился, а внизу квадратики, где мы сейчас? Ой, море, море, закрылки выпустили!»

Припомаженный руководитель группы сидел впереди вместе со своей смирной помощницей и подсчитывал, сколько штук за здоровье, сколько за упокой... Люди расслабились и ждали чуда. Самолет благополучно приземлился. Раздались дружные аплодисменты.

После всех таможенных проверок группа растянулась по плоскому горизонтальному эскалатору на довольно большое расстояние. Только черноглазой и черноволосой

нигде не было видно. Анку никто не остановил. Она вышла наружу из-под вентилируемого стекла и бетона и остолбенела, охваченная жарким дыханием Средиземно-морской зимы.

«Вот это да!» На крыльях знойного дня вместе с хамсином понеслась она вперед и вперед, на юг, в город, где жил художник. Ее подвезли на машине случайные люди, подвезли без денег. И она ни на минуту не задумывалась, что в этих местах особенно опасно останавливать машину с незнакомыми людьми.

Беспрепятственно Анка добралась до маленького белоснежного городка почти на берегу Мертвого моря. И хотя в этой стране расстояния измерялись минутами и часами, а не днями и неделями, от аэропорта городок был довольно далеко. Но она не заметила пути. В городке Анке моментально показали одноэтажный домик под черепичной крышей, где вроде бы жил художник под таким именем. Спрашивала она по-русски. Анка побежала, пружиня на мягкой податливой траве, по сыпучему песку вместо земли. Запыхавшись, влетела в домик и на секунду ослепла от яркого оранжевого света, идущего со стороны стола в центре комнаты. На столе в плетеной корзинке сияли огромные, пахнущие снегом апельсины, похожие на только что рожденные звезды. Они жили отдельной жизнью. В параллельном мире.

Стояла невероятная жара. И тут только Анка заметила художника. Он неподвижно лежал на широкой кровати в углу комнаты и был похож на замерзшую птицу. Над ним навис мольберт с большим холстом, на котором не было ничего, кроме двух сухих черных полос. «Миленький, любименький, это я, я!» – Анка бросилась к художнику, схватила его за руки; горячие слезы и пот Анки падали на его повернутую холодную шею, заросшее щетиной безжизненное лицо. Но ничего не менялось. Ничего. Тогда Анка в отчаянье выхватила из своего пакета банку с краской, из всех сил подпернула крышку ногтем и вылила содержимое банки на себя.

Белая краска полилась ровно, можно сказать, с удовольствием, распространяя во-

круг удивительный запах перевоплощения. Мгновенно формы Анки уплотились (мы помним, художник не был реалистом), Анка уменьшилась в размерах, ее руки превратились в настоящие ангельские крылья, и вдруг уверенно и легко она шагнула прямо в глубину холста, сбросив на его поверхность голубоватую шершавую шкурку. «А-а-а!» – закричал художник и открыл глаза. Над ним склонилась почти законченная работа: хрупкая женская фигура, полная понимания и любви, парила между небом и землей, а вокруг полыхали здешние цветы, вздымался купол здешнего неба (именно в этих местах из-за близости экватора небо выглядит куполом). Только в правом нижнем углу художнику померещился куст сирени, покрытый снегом, – снег был сухой и осыпался. Художник встал с кровати и с детской радостью прикоснулся к холсту.

В это время в одной из киевских мастерских другой художник корпел над заказным парадным портретом высокопоставленной особы. Это был тот самый человек, который забрал картины с чердака своего отца, киевского художника, у которого они хранились. Все девять холстов он переписал наново, записал бесплотные лица, фигуры, птиц, цветы, небеса, любовь и молитвы другого человека портретами знатных и богатых особ, а сейчас работал над десятой. Он был доволен результатом. В строгой мощи проступившего на холсте лица угадывалась рука мастера. При дневном свете портреты выглядели амбициозно и совершенно. Но как только на прекрасный город опускался вечер, в движение приходили растерзанные тела и размазанные глазницы, растоптанные цветы и обезображенные молитвы. Те, кто был нижним слоем, не исчезли совсем. Их мучения и слезы не давали покоя тем, кто оказался сверху, хотя они, верхние, собственно, были не виноваты. Так что, когда заказываете портрет маслом на холсте, убедитесь, что холст чистый. Мало ли что.

5-10 ноября 2006 года

Давид ХАХАМ

ЛИТЕРАТОР, УЧЁНЫЙ, МУЗА ИОСИФА БРОДСКОГО

К 90-летию со дня рождения Самуэллы Фингарет

Замечательный российско-американский поэт второй половины XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года Иосиф Бродский (1940-1996) до сих пор не представлен полным собранием сочинений. И это обстоятельство вполне объяснимо: многие свои произведения, особенно юношеские, Бродский посвящал друзьям и знакомым, отправлял их в письмах, даря по будням и праздникам.

Самое большое на сегодняшний день собрание сочинений Бродского, состоящее из семи томов, издано Пушкинским Фондом и Фондом наследственного имущества Иосифа Бродского в 1994-1998 годах. Оно, разумеется, не включает целого ряда его стихотворений и, конечно же, не называет всех его многочисленных адресатов в прямом и переносном смысле этого слова. Я имею в виду тех людей, с которыми Бродский в разные годы переписывался, дружил, приятельствовал, спорил и обсуждал какие-то важные, на его взгляд, исторические и политические события. Им он чаще всего писал свои письма. А с другой стороны – это были люди, которым он, безусловно, верил, к мнению которых прислушивался. Им он посвящал свои многочисленные стихотворные послания, а также рисунки и другие рукописные экспромты.

Недавно мне невероятно повезло: я познакомился в Хайфе с Самуэллой Фингарет. Ленинградский египтолог, писательница, сотрудница Эрмитажа, прекрасный экскурсовод, она мне рассказывала о многих интересных вещах, в том числе – об искусстве и культуре Древнего Египта, где она счи-



талась (и продолжает считаться) большим специалистом. Неожиданно выяснилось, что она близко знала Бродского, который в начале 1960-х годов имел с ней переписку и даже посвятил ей два своих стихотворения. С присущим Самуэлле Иосифовне чувством юмора и самоиронии она утверждает, что стихотворение Бродского «Блюз для Эллы Фингарет» было посвящено не ей, а ее тогдашней кошке Умбре, кличку которой поэт, действительно, упоминает в стихотворении. Но ведь сам заголовок стихотворения ясно указывает на адресата-человека.

Кроме того, следует отметить, что молодой поэт Бродский мучительно искал в те годы новые собственные поэтические средства самовыражения, поэтому использовал в этом стихотворении ритмику и мелодику блюза (дословно в переводе с английского блюз – это меланхолия, уныние, первоначально – сольная сельская, позднее – городская лирическая песня американских негров, обычно – грустного содержания, сложился как музыкальный жанр в XIX веке, а в XX веке обычно воспринимается как одна из форм джазовой музыки – Д.Х.).

Бродский также ввел в стихотворение аллюзии (намекы) на древнеегипетскую историю и события Древнего Египта, которыми, по всей видимости, он активно интересовался. Самуэлла в то время уже была молодой сотрудницей Эрмитажа и три сезона принимала участие в археологических раскопках на месте буддийского монастыря I века новой эры в узбекском городе Термез. Бродский, который незадолго до отъезда Самуэллы успел с ней познакомиться (он в те же годы был увлечен ее младшей подругой и коллегой по работе), взял у Самуэллы редкую книгу стихотворений древнеримского поэта Овидия «Метаморфозы». В нескольких своих письмах, в том числе – одном из попавших ко мне, отрывки из которого я приведу ниже, Бродский клятвенно обещал вернуть эту книгу владелице после того, как она возвратится в Ленинград. В другом письме он высылает ей страницу с напечатанными на пишущей машинке двумя стихотворениями.

Стихотворения обрамлены рисунками Бродского, изображавшими, в основном, кошек. Самуэлла слыла заядлой кошатницей, держала у себя всегда кошек, некоторых она называла кличками героев древнеегипетских легенд и мифов: Умбра (объяснение привожу ниже – Д.Х.), Астарта (иначе – Аштарт, в мифах Финикии – богиня плодородия, материнства и любви), Тетишери (крошка или малышка древнеегипетского бога Тота или Тета) и другие...

* * *

Теперь настало время продемонстрировать и прокомментировать первое стихотворение Иосифа Бродского «Блюз для Эллы Фингарет».

Старый хетт свыкся
С тенью, ха, сфинкса.
Полночь. Мрак. Сырость.
Жрец. Храм. Папирус.
Нил. Челнок. Пра.
Умбра. Бра. Ра.
Полночь. Мрак. Храм.
Старый хетт срам
свой скрыл (лоно)
от фараона.
Ров.
Трава.
Рев
льва.
Ночью храм пуст.
Зрим один бюст.
Чей? Хе, Изиды.
Жизнь. Смерть. Пирамиды.
След.
Хвост.
Свет
звезд.
Ночь. Тростник. Ил.
Клинопись. Ночь. Нил.
Куст. Хвост. Нора.
Умбра. Бра. Ра.
Умбра, гроза крыс!
Твой отец – Осирис!

Это небольшое стихотворение отражает поиски Бродского в области художественного слова, яркой метафоры, выразительного олицетворения и других поэтико-стилистических фигур.

Знакомство с молодыми девами из Эрмитажа подтолкнуло начинающего поэта к изучению древнеегипетской мифологии, сказаний и легенд. Так появляются в стихотворении образы сфинкса, фараона, храмов, пирамид, жреца, умбры (природного коричневого пигмента, по химическому составу близкого к охре, он применяется с

древности для изготовления красок), бога солнца Ра, бра (древнего настенного светильника, сначала – места для факелов, затем, в XVII-XIX веках, – подсвечника, ныне – места для электрических ламп разных форм, величин и цвета), льва, богини Исиды (иногда – Исид или Изиды, в древнеегипетской мифологии – супруга и сестра Осириса, мать Гора, олицетворение супружеской верности и материнства, богиня плодородия, воды и ветра, волшебства, мореплавания, охранительница умерших, изображалась как женщина с головой или рогами коровы), Осириса (иногда – Озирис, в древнеегипетской мифологии – бог умирающей и воскресающей природы, брат и супруг Исиды, отец Гора, покровитель и судья мертвых), хетта – представителя древнего народа, проживавшего в центральной части Малой Азии и основавшего в конце XVIII – начале XII века до новой эры мощное Хеттское царство.

Это царство достигло своего расцвета в XIV-XIII веках до новой эры, но из-за постоянного соперничества с Древним Египтом в борьбе за господство в Передней Азии потерпело поражение и распалось. Хетты попали в рабство к древним египтянам (как и древние евреи до эпохи Мошэ-рабэйну).

Кстати, словечко Пра в контексте «Нил. Челнок. Пра», возможно, – метафорическое указание притока или поймы Нила, где был найден младенец Мошэ (буквально – «вытащенный из воды»). Сравним это слово с названием притока Пра на Оке.

Молодой, начинающий поэт Иосиф Бродский в поисках средств самовыражения и просто для повышения своего образовательного и культурного уровня пришёл в Эрмитаж. И тут оказалось, что по залам древнеегипетского искусства экскурсии проводит хорошо знавшая свое дело симпатичная и строгая Элла Фингарет. Бродский как человек Слова «пробует на вкус» ново-старые слова: «умбра-бра-Ра», «Нил. Челнок. Пра». Старый хетт не только обходит по ночам храм фараона – он занимает

ся также «незаконной деятельностью», что скрывает от фараона. По ночам он, проходя по храму, издает странные звуки, похожие на кашель, харканье, вздохи. Молодой поэт передает эти звуки с помощью двух близких по звучанию междометий: «ха» и «хе». Все стихотворение – это, казалось бы, ночные видения и чувства старого хетта. Но в самом конце Бродский неожиданно все вышесказанное превращает в шутку. Оказывается, Умбра – это кличка кошки, «грозы» всех окрестных крыс, а ее «отец» – все тот же бог умирающей и вновь рождающейся природы – Осирис!

Когда говорят о том, что у Бродского в одном стихотворении спрессовано воедино Пространство и Время, Трагическое и Комическое, Грустное и Смешное, то мы в качестве примера можем теперь привести и «Блюз для Эллы Фингарет». Тем более, что «раннего» Бродского очень трудно отделить от Бродского «позднего» – та же поэтика и красота слова, та же неожиданная система образов, та же совершенно специфическая рифмовка (например: сырость-папирус, трава-льва, крыс-Осирис).

Когда современные рифмоплеты, графоманы и литературные дилетанты удивляются тому, что Бродский признан великим поэтом XX века, что ему присуждена Нобелевская премия по литературе, то мне всегда хочется воскликнуть: «Ребята, Бродский прежде всего интересен тем, что он – индивидуален и неповторим! Цените его и постарайтесь быть похожими на него, при этом – совершенно отличаясь от него и других своей поэтикой и манерой стиха».

* * *

В этом же письме Бродский посылает Элле Фингарет второе короткое стихотворное послание, в котором подчеркнуто ее «благоразумие» (читай: ум, образованность, культура, интеллигентность), ее «насупленность, пасмурность», ее «торжественный лик» и – как бы в шутку: «в ущерб прическе»...

Элла, в отделение мира плотского
в пирамиде сердца Бродского
сохранится Ваша мумия,
как предел благоразумия.
Простите: в пасмурные дни
Вас вспомнить проще.
Каким-то образом сродни
Вам эти рощи.
И небо – небо без конца,
скворцы-подростки...
Как будто торжество лица
(в ущерб причёске).

(1963)

И опять – поразительное умение молодого поэта передать всего несколькими словами отношение автора к женщине, по профессии – египтологу (пирамида, мумия). А еще тут наличествует увлечение природой (рощи, скворцы-подростки), отношение к молодой, серьезной женщине с торжественным выражением лица, кокетливой причёской... Иронию, мягкий юмор, легкий сарказм и, в то же время, – бесконечное уважение к адресату чувствуем и мы, читая эти двенадцать стихотворных строчек выдающегося поэта XX века.

* * *

Пора, однако, немного рассказать о самом адресате этих двух стихотворений – Самуэлле (Элле) Иосифовне Фингарет.

Она родилась в 1927 году в Москве, но с 5-летнего возраста и за исключением нескольких военных лет вплоть до репатриации проживала в Ленинграде. Отец, Иосиф Самойлович Фингарет, был в те годы «раскулаченным нэпманом», так как со своим родственником с начала 1920-х годов «держал» (как в то время говорили) магазин медицинского оборудования. Предполагая, что его скоро арестуют и при этом могут пострадать жена и дети, он уже в Ленинграде развелся с матерью Минной (Минцей) Самойловной Фингарет-Лещинской.

Иосиф Самойлович погиб летом 1941-го под Ленинградом во время рытья окопов.

Смерть любимого отца стала для 13-летней Самуэллы страшным ударом...

Тут я ненадолго отвлекусь, чтобы рассказать немного о происхождении фамилии Фингарет. На мой взгляд, она содержит два корня: «фингер» («палец» на идише, английском, немецком) и «эт» («ручка» на иврите). Фамилия может толковаться как прозвище, которое (как сказано у одного автора), «ведет свое начало от английского слова «finger» – «палец», «палец вареника или перчатки», а также как другие понятия и действия, например: «остров, полуостров, имеющий удлинённую форму», «трогать, дотрагиваться, осязать», «играть на музыкальном инструменте». Вероятно, прозвище либо отражало черты внешности основателя фамилии (маленький рост, «мальчик-спальчик»), либо содержало указание на род деятельности предка (торговец, портной, музыкант), либо на особенности места его жительства (на острове)». Думаю, что прозвище это, скорее всего, обозначало искусного мастера своего дела, обладавшего «золотыми руками» (портного, сапожника, скорняка). Кстати, близкая по значению и звучанию фамилия Фингрит произошла от идишского слова «фингергут», которое означает «наперсток». Возможно, однако, что первые носители этой фамилии тоже были портными, сапожниками, скорняками или же производителями наперстков.

Возвратимся, однако, к биографии Самуэллы. В школу она пошла с восьми лет, в 1935 году. То был последний учебный год, когда детей отбирали в классы по способностям. Элла попала, разумеется, в класс «а». Больше всего она любила сказки и древнюю историю, что стало ее главной профессией в жизни. Обожала брата Мишу. Миша был старше на пять лет. В 1943 году 21-летний старший лейтенант Михаил Фингарет, артиллерист и разведчик, погиб на Белорусском фронте...

Ее школу в начале войны эвакуировали в село Верхне-Раменское Кировской области, население которого почти полностью было уничтожено большевиками. Там она прожила до конца войны.

В 1943-м окончила школу в Москве. Самуэлла, находясь в эвакуации, часто рассказывала младшим школьникам об интересных событиях древности, а также истории, полностью выдуманные ею. В школе она начала рисовать. В учебнике нашла портрет Людовика XIV, перерисовала его в увеличенном виде на обратной стороне старой афиши и повесила на стенку. Из окрестных сел приходили люди и своими съестными припасами платили ей за копии портрета короля.



Хотя Элла окончила школу в Москве, ей прислали вызов из Ленинграда. Как оказалось, это был вызов... в ремесленное училище. Все близкие и родные считали, что она должна окончить такое училище и получить хорошую техническую специальность.

Но близкие и родные не учли сильного, целеустремленного характера Эллы. С евреями в первые послевоенные годы проблем при поступлении еще не было. В 1945-м она подала документы на отделение египтологии и африканистики восточного факультета Ленинградского университета (ЛГУ). Несмотря на финансовые и психологические трудности (мать работала на двух работах), все пять лет самоотверженно училась, уделяла особое внимание египтологии.

Научным руководителем ее дипломной работы стала Милица Эдвиновна Матье (1899-1966), дочь обрусевшего англичанина, известная в ленинградских и московских научных кругах как египтолог, искусствовед, историк. Самуэлла многое почерпнула для себя, общаясь с этой женщиной. Матье – не только автор научных трудов, но и нескольких исторических повестей для детей.

Научным оппонентом работы Фингарет была Наталья Давидовна Флиттнер (1879-1957), историк-востоковед, искусствовед, доктор исторических наук, профессор (с 1940 года). Среди её учеников были Милица Матье, Игорь Дьяконов, Борис Пиотровский. С 1919 по 1950 годы она работала в Эрмитаже. Работы Флиттнер заложили ос-

новы изучения в России искусства Передней Азии.

Элла окончила дневное отделение в 1950-м, когда Сталин и его окружение уже принялись за евреев. После окончания ЛГУ долго не могла устроиться на работу. Вместе с подругой отправилась в Смольный, где партийные кадры занимались распределением молодых специалистов. В тот год возникла потребность в африканистах, и партийный деятель даже обрадовался, увидев девушек в своем кабинете. Но когда, открыв паспорта, обнаружил, что обе девушки – еврейки, тут же отказал им. После этого случая Самуэлла «потеряла паспорт», где стояла отметка о высшем образовании, и устроилась на работу разрисовщицей на фабрику росписи тканей. Там она проработала пять лет.

После смерти Сталина проблема антисемитизма несколько стихла, и ее пригласили на исторический факультет ЛГУ преподавать египтологию на дневном и вечернем отделениях. На дневном отделении студентов было мало, а на вечернем – много. Попадались нередко и талантливые люди.

Работая с «вечерниками», Самуэлла испытывала настоящий творческий подъём. Платили мало, как всем гуманитариям. Выручали лекции в обществе «Знание». Одна лекция, подготовленная Самуэллой, называлась «Кошки в искусстве». Лекция не получила поддержки у методистов. В начале 1960-х она ушла из университета в Эрмитаж. Тогда же этот знаменитый на весь мир музей «приютил» всех евреев из «Русского музея».

В Эрмитаже Самуэлла Фингарет проработала много лет, до выхода на пенсию в 1982 году. Там она проявила себя как опытный экскурсовод, стала автором научно-популярной книги «Искусство Древнего Египта в собрании Эрмитажа» и пяти детских книг. «Историк Древнего Египта» – так значилось в дипломе Самуэллы Иосифовны Фингарет. Став научным сотрудником знаменитого Эрмитажа, она с большим удовольствием работала с детьми в школьных кружках музея. А впоследствии стала адресовать юным

читателям и свои книги. Через всю жизнь она пронесла любовь к однажды избранной профессии.

* * *

Все книги Самуэллы Фингарет сегодня – библиографическая редкость. Созданные в основном для детей младшего и среднего школьного возраста, они, по сути дела, глубоко и полно расширяли детский кругозор и знания. Порой в школьных учебниках об этих исторических событиях, народах и героях не упоминалось ни разу.

Первую книгу Самуэллы написала в соавторстве с Наталией Ланда. Повесть для детей «Из лотоса рождается солнце» тиражом 115 тысяч экземпляров вышла в 1963 году в Ленинградском отделении Детгиза, она рассказывала о гиксосах – «царях-пастухах», или «владыках чуждых стран». Это был народ, образовавшийся в результате смешения семитских и хурритских этнических элементов и постепенно заполнивший всю Переднюю Азию и Древний Египет.

Вторая книга Самуэллы – «Искусство Древнего Египта в собрании Эрмитажа» – вышла в ленинградском издательстве «Аврора» в 1970-м. Третья – повесть «Великий Бенин» (1973) – рассказывала о великом мастерстве бенинских скульпторов XI-XV веков, создавших в бронзе галерею владык и богов, а также многофигурные композиции с мифологическими сюжетами (Бенин – государство, существовавшее в южной части Нигерии и достигшее наивысшего расцвета в XIII-XVII веках. Сегодня в Западной Африке существует Народная Республика Бенин, которая до 1975 года называлась Дагомеей – Д.Х.).

Четвертая книга – повесть «Друзья из Сары-Тепе» (1976) – о том, как ученик 4-го класса одной из ленинградских школ приезжает с отцом в Узбекистан и становится участником археологических раскопок.

Далее называю книги Самуэллы бегло (о них можно найти краткие аннотации в интернете): «Богат и славен город Москва» (1980), «Скифы в остроконечных шапках»

(1982), «Дёмка – камнерез владимирский» (1985), «Огонь на ветру» (1989, о дружбе Грузии и России), «Знак «фэн» на бамбуке» (1991, о Китае)...

Книги выходили огромными тиражами (100 тысяч – 150 тысяч экземпляров). Но лишь однажды Самуэлла Иосифовна испытала настоящий триумф: проходя мимо ленинградского Дома книги и увидев огромную очередь, она остановилась и спросила: «А что сегодня продают?» – и услышала в ответ: «Новую книгу Фингарет!». Речь шла о роскошно изданной книге «Три сказки Страны пирамид» (1987). Все остальные книги вышли уже тогда, когда Самуэлла переехала в Израиль: та же книга в переводе на иврит Брони Бэн-Иаков «Шлоша сипурэй агада ми-Арэц а-пирамидот» («Три сказки Страны пирамид, 2000»), «Мифы и легенды Древнего Востока» (2002), «Тиара кобры и коршуна» (2004).

В последней по времени повести Самуэлла Иосифовна обратилась к одному из интересных периодов в истории Страны пирамид. Повесть проводит читателя через два отрезка времени, отделенных друг от друга тремя с половиной тысячами лет. Сюжетная линия восстанавливает время правления женщины-фараона Хатшепсут (последняя четверть XVI века до н.э.) и ее фаворита, великого зодчего Сененмута, разделившего с царицей власть.

* * *

В 1961 году Эрмитаж организовал археологическую экспедицию в Узбекистан, где в городе Термез проводились раскопки буддийского монастыря первого века новой эры. В составе экспедиции три сезона работала и Самуэлла. Именно в то время она получила от Иосифа Бродского несколько писем и два стихотворения с посвящением ей. А началось их знакомство примерно за полгода до той поездки. Самуэлла болела. Ей принесли стихотворения, ходившие в то время в списках «по рукам». Среди них были и стихи молодого Бродского, которые ей запомнились. Их познакомила близ-

кая подруга, тоже работавшая в Эрмитаже. Встреча произошла в популярном ленинградском кафе «Сайгон». Много спорили об искусстве, литературе, поэзии. Вскоре, однако, вниманием Самуэллы всецело завладел большой русский художник, принадлежавший к неофициальному искусству (андерграунду) – Евгений Григорьевич Михнов-Войтенко (1932-1988)...



И в заключение привожу одно из писем Бродского, адресованных Элле Фингарет и отправленных на Главпочтамт до востребования в узбекский город Термез.

«Л-д (Ленинград) 9 IX 63

Элла, милая!

«...»

Книга Ваша цела и сохранна: за нее не беспокойтесь. Читаю, к сожалению, дьявольски медленно: но к Вашему приезду надеюсь вполне одолеть. Надеюсь также оказать Вам все-таки гостеприимство – правда, на менее благодатной почве, но столь же горячее, усугубленное к тому же чувством вины.

Южное солнышко, надеюсь, не вышибет из Вас все мо'зги, и Вы сумеете оценить его (гостеприимства) прелесть. Равно, как и без интеллигентности писанные строки этого письма.

Мяу!

Ваша Умбра не покидает моего воображения, а Ваш образ – сердца. Еще раз – мур-мяу!

Берегите себя: на такой жаре можно в два счета распахнуть – а ведь разум нужен Вам для общения. Давай Бог, чтоб все было там хорошо. Берегите себя и не забывайте своего обидчика

Иосифа Бродского, который был бы Вам признателен за какую-нибудь завалящую открытку».

С 1991 года член Союза писателей России, член Союза писателей Израиля Самуэлла Иосифовна Фингарет проживает в красавице Хайфе на улице Аневиим. В нынешней непростой жизни ей помогают разные люди. Сейчас у нее гостит давняя подруга из Санкт-Петербурга – Наташа Шифрина. Хотелось бы в заключение пожелать Самуэлле Иосифовне крепкого здоровья, хорошего самочувствия, творческих успехов и прекрасного настроения!

От главреда журнала «ИСРАГЕО» Владимира ПЛЕТИНСКОГО

Едва получив этот текст от постоянного автора «Секрета» и «Новостей недели» Давида Хахама, я воскликнул:

– Неужели это та самая Фингарет?!

Обнаружив в числе иллюстраций обложку книги «Великий Бенин», ответил сам себе:

– Да, та самая, на книгах которой шло моё духовное становление.

Конечно, не только Самуэлла Иосифовна оказала влияние на меня. Но ее книги – а я прочитал большинство из них! – долгое время находились на почетной полке в моем кабинете. И не стояли мертвым грузом, а постоянно перечитывались.

Увы, та увесистая коробка, в которую я уложил самые любимые книги и отправил «малой скоростью» с остальным багажом, пропала. Видимо, похитители сочли, что там находятся раритеты, которые можно выгодно продать. Сомневаюсь, что эти примитивные личности (а кто еще крадет чужие вещи?) стали бы читать Самуэлла Фингарет и Тэффи, Валерия Брюсова и Василия Аксенова, братьев Стругацких и Клиффорда Саймака...

Поэзия и о поэтах

Вадим ХАЛУПОВИЧ



Мне стиль эзоповский осточертел,
Мне надоела вязь иносказаний.
Я изъясняться просто захотел,
И тотчас же возник перед глазами
Обычный мир предметов и вещей,
Руками и природой сотворенных.
Дымилась на столе тарелка щей,
Янтарных щей и одухотворённых.
И ломоть хлеба рядом возлежал степенно,
И я ещё не мог подозревать,
Что прозревать я начал постепенно...
Но ты вошла и села у стола:
«Послушай, ты ведь голоден, наверно?»
Ты это тихо так произнесла ...
И мне открылось вдруг, что это верно:
Я голоден, о, Время!
Голод мой
Не заглушить тарелкой щей и хлебом.
Я голоден, когда спешу домой,
Я голоден, когда взлетаю в небо,
Я голоден, когда я вижу снег,
Когда капель за окнами грохочет,
Я голоден, когда я слышу смех, –
Мы так смеёмся мало!
Пусть хохочет
Двухлетний человечек, удивлён
Зелёным чудом солнечного света...
Я ненасытен! Я не утолён!
И я хочу, чтоб вечно длилось это.

1960 г.

1937-1987

Всё ветераны о войне.
Всё их война не отпускает.
Вот так и эта боль во мне
Не иссякает.

И пятьдесят прошедших лет
Её ослабить не сумели,
И срока давности ей нет:
Всё в самом деле.

Как будто бы на рану соль,
И сердцу жарко.
Я не могу умерить боль –
Не лай, овчарка
Соседская... Невинный зверь
А сколько здесь ассоциаций
Пинком распахнутая дверь –
И собираться!
Бессрочны сроки и этап.
Ведут безвинных.
А было наших мам и пап,
Как тех травинок...
Инты, Тайшета, Колымы
Холодный пламень
Нас жжёт, куда живы мы
Меж вами...

1987



* * *

Давайте слушать тишину.
Пускай она ворвётся в уши.
Давайте слушать тишину,
Давайте слушать:
Как шелестит в снегу ручей,
Скрипит сосна, звенит синица,
Как буйство солнечных лучей
Звучать стремится.
Как на заливе, посреди
Пустыни ветреной и снежной,
Пространство тишины гудит
Безбрежно...
Пусть ветви к небу дерева
В беззвучном крике воздевают,
Пусть с губ слетевшие слова
Охладевают,
Коснитесь, чувствуя вину
Руки, отраду вам принесшей,
Давайте слушать тишину
Души воскресшей...

1986

* * *

Средиземное море.
В берега четырнадцати стран
Эти волны бьют, не уставая,
Берега четырнадцати стран
Пеною морскою заливая.
Библия, Тора или Коран –
Им, волнам беспечным, безразлично,
Корабли четырнадцати стран
На волнах качаются привычно.
Разная у этих стран судьба,
Радость и печаль их непохожи.
Общая глубокая вода
Их объединить никак не может.
Словно их навеки развели
Боги на собрании надземном...
Это море посреди земли
Люди называют Средиземным.
Я сижу на низком берегу,
За моей спиной шумит Израиль.
Блики солнца по волнам бегут,
Блики солнца на волнах играют.
Я сижу, не чувствуя вины,
Что вся жизнь, которую обрящем, –
Рокот набегающей волны,
Шелест уходящей....

Эдуард ФИШЕР



Протяжно гудят теплоходы.
Плывут над заливом басы...
И море, хоть среднего рода,
Прибойные гладит усы...

Не знаю,
Что слышат другие!
О чём им суда говорят!?
По мне –
То «кукушки морские» –
Израилю вечность сулят...

Необъяснимое

Человек!
Ты знаешь очень много!
Знаешь,
Что, откуда и зачем.
И придумал – с Б-гом
Иль без Б-га –
Сотни аксиом и теорем...

Мудрецы сидят над микроскопом.
Хмурят, до морщин, учёный лоб...
И сулят Америкам, Европам –
Ноевский второй земной потоп...

Объяснимо вроде всё на свете!
Лишь одно не могут объяснить:
Почему
В безумной коловерти
Человек, сам подвергаясь смерти,
Жаждет человечество убить...

Я по колено в нежности бреду

И вот февраль – зелёный, желтоглазый –
Встаёт из трав – у ливней на виду,
Весь в ароматах свежести... И сразу
Я по колено в нежности бреду,
И умываюсь ветра светлой лаской,
Уснувший зной пустыни ощутив,
Что скрыла суть свою под алой маской
Атласных маков, крашенных в мотив
Весенних песен – мятных и миндальных,
И в запах леса – пряный и грибной...
И из краёв завьюженных и дальних
Ты это видишь – словно ты – со мной...

Прикосновенье стеблей изумлённых
Балует кожу бережным теплом...
И я спешу побегом гибким клёна
Тебя коснуться тихо перед сном;
Из моего заморского «далёка»
В твои – ещё всесильные – снега
Тепло любви моей – судьбы уроком –
Летит к душе, чья глубь мне дорога...
И я вот так – весной среди метели –
Хочу остаться в сердце мне родном,
Чтоб каждый миг – без паузы – летели
К тебе слова... Всё жарче – с каждым днём...

Снова циферблат...

*...Запутался в листве
прозрачный циферблат...*

О. Мандельштам

Осенняя струна в оранжевый закат
Уже вплела свою больную душу –
Запутался в листве прозрачный циферблат –
И время заколдованное слушать
Велит нам в сентябре, который зазвенит,
Пропитываясь золотом и медью.
И каждый новый лист,
как призрачный магнит,
К себе сердца влечёт – их отогреть бы...

По скверам ввечеру кружится листопад,
Листая календарные страницы –
Слетающие дни... Но узкая тропа
Увидится сквозь сомкнутость ресниц. И
Опять раскроет даль, уйдя за поворот...
По кругу время движется, по кругу.
И всё, что будет вновь, – привычно и старо:
Апрель, и май, и лиственные вьюги...

А стрелки на часах – вперёд, а не назад,
Всё больше за спиною стылой сини...
Смотри – рассвет встаёт!
Но снова циферблат
Мелькнёт в янтарной зыбкости осины...

Кофе со вкусом осени

Клёны листья на землю сбросили.
Листопад, не мети, стой!
Хочешь кофе со вкусом осени –
Настоявшийся и густой?

В нём – крупинки шального августа,
Жар июльских ночей хмельных
И полёт долгожданный аиста,
Заплетённый в июньский стих.

Кофе терпкий горчит – не жалуйся.
Это – горечь разлук? Измен?
Ты меня успокой, пожалуйста,
Дай до ста посчитать в уме...

Подари золотые сказки нам,
Не закусывай удила –
Подсласти поцелуем ласковым
Кофе – с осенью пополам.

Лист кленовый с окраской манговой
В чёрном кофе скрепит союз
Наш с тобой, листопад мой, ангел мой...
Приходи на осенний блюз...



Вспомнить...

Прошедший день, вздохнув, угас полоской красною,
И ветер чуть скулит, как брошенный щенок.
Скребётся ночь в окно остывшей веткой ясеня,
И студит невзначай вечернее вино.

Реальность, как всегда, с прошедшим перепутана.
Что ближе, что важней? Такой вопрос смешон.
Но снова день придёт – с проблемами и смутами –
И шрам оставит вновь – невидный, небольшой.

Нетрудно всё забыть – и так удобно спрятаться
От давнишних грехов в очерченный квадрат...
Одеть в нарядный шёлк придуманного платья
Былое – и вставать спокойно по утрам.

Но осень, в свой черёд, меняет всё же что-то в нас,
Стучится изнутри, проклюнуться спешит,
Напомнить о себе тоскующими нотами,
Куда-то заскользить по абрису души.

А дождь по стёклам бьёт и пишет чётко каплями,
Строкой короткой, влёт, скупее, чем Басё.
И память полоснёт по сердцу острым скальпелем –
И в миг единый мне удастся вспомнить всё...

МОРЮ

Брызги соленые
Солнцем каленые.
Гладишь прибоем горячий песок.
Блики лучистые,
Гребни искристые.
Вдоль не объять тебя, ни поперек.
Думы печальные,
Фразы случайные
Прячешь в глубинах кочующих вод.
Слёзы вобравшее,
Радость выдавшее
Гасишь закат и ласкаешь восход.
Ширь одинокая,
Гавань далекая.
Двигатель вечный немолкнувших волн.
Спины их синие,
Нежные, сильные
Танкер удержат и маленький чёлн.
Нет ни усталости,
Боли, ни старости.
Мчишь, не гадая: «А что там вдали?»
Тихое, вздорное,
И чудотворное
Соединенье небес и земли.
Взлеты, падения,
Но... не смирение...
Диким волнам недоступен покой.
Море – движение,
В душу вторжение
И отражение жизни самой.

ОСЕННЯЯ ПРАВДА

Стою средь высокого леса
Серёжками машут осины.
Прожилка над тучей небесной
Протянется росчерком синим.

В косынке шуршащей цветастой
По лужам шатается осень.
Привет от зимы безучастной –
На золоте лёгкая проседь.

Вот солнце из рыжего лета
Случайно блеснёт и растает.
Дубов оголённых скелеты
Уже вдалеке вырастают.

Всему, что пестреет и кружит
Когда-то дано обнажиться.
И ты проникаешь всё глубже
В до боли знакомые лица.

Как листья у бездны тумана,
Как дня уходящего краски,
Срываются в бездну обмана
Любые притворные маски.

Лесной маскарад, угасая,
Исчезнет. И день подытожив,
Осенняя правда нагая, босая
Вонзается в кожу.

* * *

***Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.***

Б. Пастернак

Кто-то вновь о своём возвышенном,
Я опять о своём простом.
Стайка вьется над мокрой крышею,
И виляет щенок хвостом.
Вдоль обочин трава невзрачная
Просочилась сквозь чернозём,
Надувается туча мрачная,
ГРОМОгласно грозя дождём.
Брызнул он! Пузыри по лужицам
Разлетаются впопыхах,
И браслеты из капель кружатся
На сосновых ветвях-руках.
Струи пишут мне письма тайные
Вязью странною на окне.
Есть ведь что-то необычайное
Даже в хмуром, обычном дне!
Дотянуться ли до высокого?



Погрязая в простом быту
И впадаю, небес не трогая,
В небывалую простоту.

А Я ДАВНО НЕ ВАША МУЗА

Под серой тучкою кургузой
Висело солнце на крючке.
Слыла тогда я вашей музой –
Гремела песня в кабачке.

Зелёной корочкой арбуза
Плыла по озеру ладья.
Но в узах нашего союза
Была, как будто я – не я.

И, сбросив колкостей обузу,
Бреду по свету налегке.
День распластался, как медуза
И растворился вдалеке.

Не укатился мячик в лузу.
Луна разбила блюдце дня.
А я давно не ваша муза,
И ваша музыка – не я.

ПЕРЕВОДЫ

Из Ханы Сенеш (1921-1944)

לחפש בן אדם

במדורות מלחמה, בדליקה, בשרפה
בימים סוערים של הדם
הנני מבעירה פנסי הקטן
לחפש, לחפש בן אדם.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

У военных костров, на горящем пути,
В дни жестокой кровавой пурги
Направляю я луч, мой фонарик, свети!
Человека найти помоги.

Свет твой меркнет, в огне пропадает,
дрожит,

Дым глаза застелил пеленой,
Как увижу, найду, как узнаю, скажи,
Когда встанет он рядом со мной?

Дай мне, Господи, знак. Помоги же ты мне!
В наш кровавый и огненный век
Свет небесный блеснёт – и найду я в огне,
Что искала. Тебя – Человек.

TO FIND A MAN

In the bonfires of war, in the fire and fight,
In the blood, in the storm, in the blaze
I'm here with my little lantern. It's light
Helps me seeking a Man in the haze.

Fire, flares and flames – all suppress lantern's glow,
In the smog I can't see, but I try:
How'll I recognize, will I hear and know
When he comes, when he stands nearby?

And I ask you, my God, ask you, give me a sign
In the crash, in the storm, in the blaze
And I will recognize, I will see pure shine,
I will find a Man in the haze.

Из Редьярда Киплинга (1865-1936)

THE DAWN WIND

At two o'clock in the morning, if you open your window and listen,
You will hear the feet of the Wind that is going to call the sun.
And the trees in the shadow rustle and the trees in the moonlight glisten,
And though it is deep, dark night, you feel that the night is done.

ПРЕДРАССВЕТНЫЙ ВЕТЕР

Если ты в два ночи окно распахнёшь, послушай:
Поступь Ветра всё громче – шагает за солнцем он.
И ты чувствуешь – ночь уйдёт и рассвет потушит
Лунный блеск, шорох ночи и шелест тенистых крон.

На лугах коровы жуют – тоже ждут рассвета,
Пробуждаются птицы в плюще, начиная петь.
И не спится Ветру – спешит, он идёт по свету,
Гонит ночь вдоль дорог, расколов о земную твердь.

Крылья ветра, что крылья ангела, крепче, крепче.
Вот он солнце зовёт: – Свети нам! Свети! Мы тут!
Льется свет на поля, и птицы поют, щебечут.
Умер Ветер в траве, сделав день, завершив свой труд.

Когда мир в безнадежном сне, как в цепях недуга,
В сновиденьях тяжелых бормочет и стонет он,
Люди встанут вдруг, улыбнутся они друг другу
И услышат оков разорвавшихся долгий звон.

Леонид ФИНКЕЛЬ

МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО СДЕЛАНЫ ГЕНИИ...

К 20-летию со дня смерти Поэта Ильи Бокштейна

**«Прижизненная слава
В эмиграции
подозрительна».**

Илья Бокштейн

I

С кем сравнить одного из самых известных и самых малодоступных русскоязычных поэтов Израиля – Илью Бокштейна?

Первое впечатление – Велимир Хлебников. Та же бездомность, бесприютность, бормотание, выискивание в хаосе звуков, составляющих гармонию. Но бормотание «без правил», или «почти без правил» – как сказал в предисловии к книге Бокштейна Эдуард Лимонов.

И все же – Хлебников, если иметь в виду его абсолютное неучастие в людской суете. Его «спокойную незаинтересованность» «в мире мелких расчетов и кропотливых устройств собственных судеб» (Н. Асеев).

Правда, Хлебников мог развести из своих рукописей костер. Илья Бокштейн ничего подобного себе не позволил. Он всегда ровен в общении, уравновешен, интеллигентен, а к собственным рукописям – ревнив. Злым и раздраженным я видел его только однажды – когда издатель взял у него рукопись и исчез.

Велимир Хлебников называл себя «Председателем земного шара». Что-то подобное пробовали навязать и Бокштейну. Во всяком случае, авторы Российской Еврейской Энциклопедии написали удивительно нелепое: «БОКШТЕЙН Илья Вениаминович (р.

1937, Москва), общественный деятель...» («Российская Еврейская Энциклопедия», т.1, 1994).

Право, все врут календари!

Бокштейн, прежде всего, – поэт. Его первая книга вышла в Израиле еще в 1986 году, а составители Энциклопедии, увы, не знают этого до сих пор!

Неповторимость и странность судьбы Ильи Бокштейна уже сегодня сделала его легендой. Известный ныне поэт Константин Кузьминский, создатель редкостной много-томной антологии поэзии авангарда, подарил Бокштейну книгу своих стихов с надписью: «Первому поэту Израиля от пятого поэта Ленинграда».

Поэт Михаил Генделев пишет: »...все генеральные компоненты подлинного поэтического гения в Илье Бокштейне наличествуют: герметичность сознания, безумие, талант, темперамент. Все дело только в пропорциях...»

Илья Бокштейн посвятил Генделеву стихи. А тот (по словам Бокштейна) как-то признался: «Без тебя мне было бы легче». Поскольку подслушанному верят больше, чем услышанному, оставляю читателя с этой фразой наедине.

Илья вспоминает: К. Кузьминский увидел стихи с посвящением Генделеву и на долгое время с ним, с Ильей, порвал. Почему – неизвестно. Указующие персты не оставляют отпечатков.

Послесловие К. Кузьминского к стихам Бокштейна, походило, скорее, на некролог:



«Слава Богу, его (т.е. Бокштейна) хоть помалу, но регулярно, печатает журнал «Время и мы», а то и не знали бы о существовании безумного и гениального, нищего поэта, пробавляясь ахматовскими прилипами...

Илья Бокштейн, возникнув пару лет назад, так же и пропал, и где он и что он – не знаю... Остались три его рукописные тетради, тексты из которых приводятся факсимильно и – выборочно – в перепечатке». («У голубой лагуны: антология новейшей русской поэзии», т.1).

Как сказал остроумец, «и бесправным положением можно злоупотреблять».

В 1985 году в честь столетия со дня рождения «поэта для производителя» Велимира Хлебникова в Тель-Авиве состоялось шествие, которое возглавил поэт и художник Михаил Гробман. Он сидел на коне. С плеч

его свисал талит. Он был Капитаном. И как Капитан знал все.

Илья Бокштейн, вспоминая об этом шествии, ухмыляется: Капитан – Капитаном, и все же корабельные крысы знают больше... Про Хлебникова он мог говорить часами...

Творчество Ильи Бокштейна даже авторитетные исследователи, как правило, адресуют специалистам. Сам Бокштейн разделяет такую точку зрения. Считает, что многие его стихи предназначены исключительно для автора, ибо поэзия – акт инобытия, переход из действительности в реальность на художественном уровне, время и пространство ее – необъятны...

О единственном факсимильном издании его книги «Блики волны» (издательство «Мория», 1986 г.) можно сказать, что книга удивительно, редкостно красива. Рисунки оригинальны, почерк создает некую ауру,

а все вместе – тайну, за которой просто нельзя не ощутить эксперимента или художественной концепции. Его рукописи ждут настоящего издателя, гурмана, знатока, библиофила... Издатели «Бликов», пожалуй, проявили такие качества вполне. Книга стала библиографической редкостью.

«Блики волны» – это не только книга, а переживание книги, мироощущение, противостояние художественно-неповторимого и эмпирического «я».

Думаю, пройдет не так много времени – и легенда о судьбе Ильи Бокштейна и мифы о его творчестве сольются.

Надо только прочесть его. Издать. За более чем десять лет после выхода «Бликов волны» И. Бокштейн написал тысячи стихотворных строк, уникальные философско-лингвистические, «логотворческие» работы. На вопрос: «Как жить?» он отвечает и своим мышлением и своим образом жизни. Его жизнь – вызов насилию. И в первую очередь – насилию духовному...

...Почти каждый понедельник он приходит на Каплан 6, в Дом писателя. В последний раз мы проговорили, кажется, часа два. Рассказывает, что ночью просматривал альбомы по архитектуре и вдруг понял, что тель-авивский Дизенгоф-центр – беседа Матери и Девушки, центр Голды Меир – диалог Старика и Младенца, а автовокзал – крупнейший в мире – это разговор Монстра и Моцарта.

– Монстр – гигантский бронтозавр с вьющимся хвостом, а Моцарт – тонкое, майское красное солнце – если смотреть со стороны бульвара Харцион.

Веселое у него сегодня настроение!

Илья – человек неопределенного возраста. Еще в 70-е годы о нем писали: «немолод», «возраст от сорока до семидесяти».

В отличие от многих, думаю, у него вообще нет возраста. Его возраст измеряется стихами, а стихи были у него вчера, есть сегодня, и будут всегда. Он знает только одну работу – писать и читать стихи. «Он пишет стихи, когда другие делают карьеру, интригуют, ссорятся, сводят счеты, он пи-

шет стихи, когда другие набивают карманы и защечные мешки, путешествуют и ловят редкие мгновения наслаждения. Стихи – его карьера, его борьба, его богатство и наслаждение. Он не в проигрыше. Он имеет все, что мы имеем. Но мы не имеем того, что имеет он: его свободы от всего, что поработощает нас, его предельной расположенности к миру, его открытости собеседнику» (Наталья Рубинштейн, О поэзии Ильи Бокштейна, «Блики волны», 1986).

Да, Илья Бокштейн пишет стихи. И очень часто читает чужие (изумительно!): «плохих стихов у своих братьев не помнит, хорошие строки запоминает, бережет и любит, как свои – и отзывается на них» (Наталья Рубинштейн, там же).

По понедельникам пешком проделывает неблизкий путь из Яффо. Почти всегда отказывается от предложенного стакана воды. В жару на нем две рубашки – то ли забыл снять со вчерашнего дня, то ли читал, как всегда, Данте – и пошел озноб по коже.

Впрочем, может быть, и просто было лень рыться в одежде. Да и все равно не добратся до нее. Кругом – книги. На всех языках. Ничего, кроме книг: поэзия, архитектура, эзотерические и философские трактаты, каталоги музеев всех стран мира...

А ведь никогда не путешествовал! Живя в Москве, кажется, даже в Ленинград не выезжал, разве что на вынужденную отсидку в Мордовские лагеря. Да и здесь, в Израиле, за двадцать шесть лет был раз или два в Иерусалиме. Своей жизнью он явно подтверждает мысль, что существует лишь одно великое путешествие, и это путешествие внутрь себя, и тут не имеет значения ни время, ни пространство, ни даже поступки...

В детстве он болел спондилитом. Семь лет провел в туберкулезном санатории, прикованный к постели. Читал Пушкина, Тургенева, Гончарова. То были и его вожди и его народ.

Все же вылечили, стал ходить, правда, в корсете. Но мир Пушкина не оставлял. Тут в самый раз вспомнить лицейский анекдот: однажды император Александр, инспекти-

руя классы, спросил: «Кто здесь первый?» «Здесь нет, Ваше Императорское Величество, первых, все вторые», – отвечал Пушкин.

Илья видел себя где-то в конце списка, быть может, поэтому стал разговаривать с учителями, с директором, называя их «Ваше Величество», «Ваше Превосходительство», «Ваше Сиятельство»...

Звание и форма обращения зависела от степени влияния самого педагога...

– Меня посчитали умственно отсталым, – рассказывает Илья. – Устроили нечто вроде экзамена – попросили прочесть и пересказать статью. Пересказал... Оставили в покое...

Реальный мир испугал его. Точно изнанка войны. Боялся ходить по улицам. А, в общем, очень хотелось вернуться в лоно, устроиться поудобнее и пребывать там веки вечные...

Самое мрачное впечатление в жизни произвела на него школа. Просто кошмар какой-то! Полное отсутствие всякой духовности. Душу здесь, по привычке, все топтали и поносили...

– Я был благодарен советской власти за то, что она меня вылечила, верил, что социализм – хорошо, капитализм – плохо. Сталин умер – хотел отправиться на похороны любимого вождя. Не нашел валенки... А на следующий день вытолкнули из очереди...

Жил своим внутренним миром. Получал хорошие отметки по гуманитарным предметам и исключительно посредственные по естественным и техническим. Вообще, техника раздражала его. А мать настояла на техникуме связи! Точно назло.

Провидение привело в библиотеки. Сначала в «Ленинку», потом в «Историчку». Взял с полки энциклопедию Брокгауза и Эфрона. И пошло! Платон, Аристотель, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Ларошфуко, энциклопедисты... Поразила «Философия бессознательного» Эдуарда Гартмана. Потом Шпенглер, Ясперс...

К искусству, к поэзии пристрастился где-то в году 1958-м:

– Увидел импрессионистов в музее Пушкина. Так бывает, когда смотришь в ночное небо, кажущееся поначалу пустым, а потом вдруг, при более пристальном всматривании, оно являет далекую звезду... Точно купил себе местечко в раю...

Утомленный школой мозг почти не буждился. Дела шли превосходно: перевели на экономический факультет техникума, где он был единственным парнем, читал на лекциях Монтеня – никто не обращал внимания, девочки писали за него курсовые работы... В общем, синекура... Существовал, словно в другой жизни, из которой и письмо дойти не может...

А тут еще увлекся «еврейским вопросом», стал штудировать Талмуд, познакомился с «замоскворецкими Сократами», которых возглавлял книголюб Лев Петрович Барашков. Знакомство с ним, по словам Ильи, заменило ему университет. Познакомился с писателем Юрием Мамлеевым...

Советской России он не знал, ее проблемами не интересовался, вместо проблем «противостояния Южной и Северной Кореи» его занимали философы, эзотерики Штейнер, Гурджиев, Блаватская...

В техникуме проучился четыре года. Так долго в техникуме? ДА, ТАК! И перед самым дипломом ушел. Решил поступить на заочное отделение библиографического факультета института культуры. Мама нашла ему учителя. Того самого «тихого еврея» Павла Ильича Лавута, о котором писал когда-то Маяковский. Лавут учил писать сочинение. Английский язык Илья выучил как будто сам. Во всяком случае, вошел в аудиторию, заговорил с преподавателем по-английски, на того напал столбняк: отродясь не встречал заочников, знающих английский! В результате – пятерка.

В институте стал посещать все факультеты, какие были, в особенности музыкальный. Много бродил по Москве, любовался белокаменной. Потом увидел в библиотеке репродукции старой Москвы и опешил – оказывается, за советский период в городе

было уничтожено 450 храмов! Теперь он уже смотрел на улицы по-другому, сквозь призму своего воображения... «Соединял их не эклектически, а как того требовала легкость и красота». Еще увидел «лик вечности»: Храм Христа Спасителя, «разляписто величественный портрет империи (российской и не обязательно николаевской)».

Как-то забрел на площадь Маяковского. Незнакомые ребята читали антисоветские стихи. Стал задумываться: а к какому сословию принадлежит он сам? И вообще – что все-таки есть Союз Советских Социалистических республик?

Так задумался, что даже глаза грустными стали:

– Что с вами? – спрашивали знакомые. – Почему у вас такие грустные глаза?

Про глаза он ничего не знал. «Если бы знал, – говорит, – сразу бы сменил».

Наконец, друзья дали дельный совет: чтобы узнать советскую власть, надо посидеть в тюрьме: «Болезненно, но полезно».

24 июля 1961 года он вышел на площадь Маяковского, взошел на постамент и произнес двухчасовую речь – «Сорок четыре года кровавого пути к коммунизму».

Зеваки стояли, слушали, как реагировать – не знали. Не знала, как реагировать, и милиция: сдать в КГБ? В психушку?

Кончилось Лубянкой. Оттуда направили в известный институт Сербского. Можно бы там и остаться, читать до конца жизни! Впрочем, на Лубянке было веселее. Да и честолюбие разыгралось – какие высокие инстанции им занимаются!

В общем, суд. Прокурор просил семь лет. Судьи дали пять. Когда Илью выводили из зала суда – к ногам кто-то бросил цветы... Тут уж поневоле берешь лист чистой бумаги, ручку и выводешь: «Уважаемый Илья Вениаминович!...» Тем более, что именно в то время, после суда и сурового приговора, появилась знаменитая песня Булата Окуджавы «Бумажный солдатик» – в Москве говорили, что песня эта посвящена Илюше Бокштейну...

Истина заключалась в том, что Илья Бокштейн являл собой слишком крупную личность, чтоб его жизни и сочинениям благоприятствовала судьба.

– Потом – Мордовия. Дубровлаг № 17. Маленький лагпункт, человек на четыреста. До пробуждения во мне поэзии это было самое потрясающее время моей жизни. Русь до февраля 1917 года! Абсолютно та же политическая раскладка. Кадеты, монархисты, Союз Михаила Архангела, Союз Спасения России, демократическая партия, социал-демократическая, марксисты-ортодоксы, марксисты-либералы, марксисты-ленинцы и даже марксисты-футуристы («марфуты»), профессора исторического факультета Московского университета, арестованные в 57-м году за ревизионизм. Многие из них были вполне порядочными людьми. Конечно, они заикнулись на марксизме, но ведь ничего другого и не знали, ничего другого не приходило в их головы, они были людьми тоталитарного (точнее, унитарного) склада, им непременно нужна была какая-то фундаментальная концепция мира, которая бы все объясняла, но вели себя, в общем-то, по-человечески.

«Неписанные лагерные законы запрещали общение с политическими. Но я нарушал этот запрет. Беседовал с ними и на общечеловеческие и на общеполитические темы. Пытался объяснить им все зло марксизма – и не всегда без успеха (некоторые потом даже стали верующими).

Разговаривал я и с членами антисемитской организации – что, конечно, тоже было запрещено... Встречался с ними в сумерках, под липами. И тоже не вовсе понапрасну...» (Из интервью сотруднику научно-исследовательского общества «Мемориал» Л. Поликовской, журнал «Звезда», №4, 1996).

А, в общем, большую часть времени заключенный Илья Бокштейн торчал в курилке, болтал о литературе, читал стихи. Иногда его пытались заставить копать траншеи – отлынивал, как мог. Сажали в карцер, угрожали отправить в одну из са-

мых страшных советских тюрем – во Владимир. Заключенные за него заступались – ходили к начальнику лагеря, просили, чтобы освободили от работы. Он бы и «загремел» – спас староста барака Кархмазян, в бериевские времена министр юстиции в Армении, большой любитель поэзии – занес Илью в список «новичков», который представил медицинской комиссии. Комиссия определила вторую группу инвалидности. Пожалуй, это и не дало погибнуть. Правда, выглядел ужасно. Никто не верил, что дотянет до конца срока: живой скелет из фашистского концлагеря. Но, как ни странно, в лагере он чувствовал себя счастливым: сидел на нарах, что-то читал, писал. Почетный лагерник страны!

Годы-миражи...

Вокруг были интереснейшие люди, так что он уже стал страшиться освобождения, новой, неизвестной жизни, в которой он никто и ничто.

А здесь еще случилось событие исключительной важности: в ночь с 16-го на 17-е апреля 1965 года, на двадцать девятом году жизни заключенный Илья Бокштейн написал первые стихи – двадцать три коротеньких стихотворения, буквально по две, четыре, самое большое – восемь строк. Потом все забраковал. Оставил две строчки:

Скрипнула дверь. На пороге
обнял меня ночной ветер.

Потом дополнил:

Черная даль чуть светится
веером недотроги,
озером у дорр-ооги.

Или, например, вот такое:

Где ты уснула?
Я могилу раскапывать стал.
Муравьи мне навстречу полезли.

О Боже! Дай мужество! Бездна открывала
ему глубины...

Из лагеря он вышел с характеристикой: «За время пребывания в заключении Бокштейн на путь исправления не стал, не осуждает своего поступка, считает, что осужден несправедливо...»

А. Радыгин пишет:

«Есть в лагерях некий ритуал: когда арестант выходит на свободу, надо попытаться, если арестант рассеян, запуган или безволен, заставить его пожать «на прощание» руку кому-нибудь из тюремщиков, да так, чтоб все видели! Илюша Бокштейн был безобидным, незлобивым и безмерно рассеянным человеком и, когда он выходил из зоны, начальство поручило именно Иоффе (все-таки «земляк»!) вырвать у него рукопожатие. Толпа провожающих и кучка начальства замерли, когда Иоффе, улыбаясь, с протянутой рукой двинулся к Илюше. Бокштейн поднял недоумевающий рассеянный блеск своих могучих диоптрий: «Руку? Вам? Вы... предатель еврейского народа!» И пошел сквозь ворота под торжествующий вой как евреев, так и антисемитов...» («Антология новейшей русской поэзии»).

После некоторых приключений, добровольной отсидки в психушке (чтоб собраться с силами – минимум слов – максимум идей), в душный, жаркий летний день он снова оказался в любимой Москве.

Вот она, его истина – эти домики, церкви, башенки, каждую готов был обнять... Истина – в красоте, а «поэзия – родной язык для всей человеческой расы!» – квинтэссенция вольноотпущенника Ильи Бокштейна...

Какое-то время ходил в литобъединение «Магистраль», потом в «Спектр», нечто вроде салона на частной квартире. Туда его приняли заочно. Руководитель Ефим Друц прочел:

Я – еврей,
Не мадонной рожден,
Не к кресту пригвожден,
И тоски мне не выразить всей.
Цепи рода во мне,
Скорбь народа во мне,
Я застыл у безмолвных дверей.

Постановили: «Автора семистрочной поэмы принять заочно».

А он буквально пропадал в Библиотеке иностранной литературы. Открывал наугад словари и каждый день смотрел по три слова: из французского, итальянского, испанского, немецкого, а потом листал энциклопедии, особенно пристрастился к французской и итальянской...

В поэзии же его привлекал русский авангард, поиски созвучий. Никакая объективная ситуация не влияла на Бокштейна, направлял только собственный вкус. В конце концов, каждый имеет право не только на несчастья...

Наконец, пришло время менять Библиотеку иностранной литературы на Израиль. Какое-то время склонялся в пользу библиотеки.

Все же пошел в ОВИР, не имея даже вызова. Отказали.

Но что-то подталкивало его. Какое-то внутреннее чувство, да и болезнь обострялась: «Стой, ни с места, рядом – бездна, Покорись – иначе баста, Пропадешь, и я, как бастард, Въехал в нищую, несчастную страну»...

2

Я не стану утверждать, что Илья Бокштейн – гений. Правда, он уже написал шесть или семь пока еще никому неизвестных книг. Его рукописная книга «Юрам» (пятьсот страниц) излагает принципы логотворчества. Еще одна, «Лиюр», – об уровне самобытности Израиля. Плод двадцатишестилетнего пребывания в стране. Посвящена еврейской проблематике, возможности создания в Израиле мировой концепции. Еще пять других – эзотерика, философия, стихи... «Авероны» (логотворческие произведения)... Взаимоотношения его персонажей – это взаимоотношение мыслей. Философских или экзотерических концепций. Все это составляет «Сад цветов логотворческой поэзии». Сверхсложный материал!

Спрашиваю:

– Каков сегодня Илья Бокштейн, как он изменился?

– То, что было до восьмидесятых годов, кажется мне очень примитивным... Те сочинения на русском коммуникативном языке не сложнее того, что было в «Бликах волны», здесь даже видна тенденция к упрощению, хотя это очень сложное упрощение. Я думаю, что современному читателю и эти стихи трудно будет воспринимать, тем более, что они не составляют каких-либо единых конгломератов, типа фантазий, это отдельные стихи, в них уже меньше ключей...

«Фантазия страстей», например, – это вариации на авторские темы. Создана 24 октября 1995 года. Если в «Бликах волны» такая фантазия занимает семнадцать страниц, то в «Фантазии страстей» 1995 года – только четыре страницы. Это другое сочинение. Иной принцип ценностей. Это «дилляры», инообразы (есть такое понятие), даже не вариант стихотворения – иное выражение стиха... Этот «дилляр» лучше раскрывает стихотворение, «дилляры» могут отличаться друг от друга двумя буквами, но это уже меняет структуру стиха, дает ему другой план. Есть «дилляры», которые отличаются названиями или отсутствием таковых. «Дилляр» очень способствует пониманию автором возможностей своего стиха. Многие большие поэты, не понимая своих возможностей, не замечая их, портили свои стихи... Ну, скажем, у Мандельштама два великолепных перевода сонетов Петрарки. Никто на русский язык этих стихов не переводил. Но Мандельштам не понял их красоты, забраковал, создал другой вариант, хуже, более тяжелый, и поместил этот вариант в сборник, а тот прекрасный, нежный вариант оставлен в черновиках... Если бы поэты знали теорию «дилляра»! Мандельштаму нужно было оставить только образ, современные филологи поняли бы, что это «дилляр»...

Нет, утверждать, что Илья Бокштейн гений – не стану. Люди не привыкли еще к подобным откровениям. Тем более, что далеко

не все строчки у него удачные. Что-то и просто недоступно. Но то, что из такого человеческого материала делаются гении, – более чем очевидно.

Вообще, не случайно все громче и громче говорят (и Бокштейн в том числе), что оригинальные стихи «доступны не каждому. Доступны небольшой группе людей». Усложнение поэзии, по мнению Бокштейна, сузит круг ее ценителей и почитателей. Еще в большей мере это касается переводов. Но у гениальной поэзии особые крылья. Крепкие и мощные, они поднимают ввысь совершенно неожиданно и неудержимо. Все преобразается, мир теряет привычные координаты: открываются чувства, возбужденные взлетом, становится чутким слух. Поэт заводит какую-то тонкую мелодию, которая странным образом воздействует, и на миг ты становишься гениальным...

На единый миг – потому что в этот миг время умирает, теряет силу, и ты не чувствуешь ни времени, ни пространства.

Я не сплю.
Но сонных людей двигаю,
Словно они куклы,
Составляя из их сонности
Цветок истории,
До того момента, когда войду
В кого-нибудь из них,
И он им докажет, что они
Свободны,
А следовательно, имеют шанс
Быть творцом,
То есть мной.

Истина – не в будущем, она в сиюминутном, вся жизнь – поток истины. По существу, истина – это интенсивность внутреннего мира, и Бокштейн не станет ею жертвовать ради измышленных, головных абстракций.

Вот уж поистине, хочешь быть философом – пиши стихи!

Обалдел от великих идей,
Вот тоску о величье разбей-ка!
Не сливается с грустью моей
смерть канарейки.

Он страдает не только мужественно, но еще как-то по-особому грустно, не жалуясь и не досаждая другим.

Ветер стих. Растворилось окно.
Кромка ночи в излуцинах гор
чуть заметна.

Даже черти не скажут, как мне черно,
Ведь тоска у чертей одноцветна.

Кажется, что обычное суждение (кого-то о чем-то) здесь неприемлемо. Почти по Кьеркегору: «Таким образом, самый большой парадокс мышления – это открыть нечто такое, что само мышление не может измыслить...»

– В чем смысл жизни?
– Создавай существо
совершеннее тебя.
– Это невозможно.
– Значит, смысла нет.
– А как я узнаю,
Что оно меня совершеннее?
– Ты посмотришь в зеркало
И увидишь его,
А себя над зеркалом
открывшимся многолюдьем
блестящей площади.

Одни только названия стихов Ильи Бокштейна («Вебер», «Фантазия Гамлет», «Св. Франциск», «Фантазия Юдаика», «Реб Акива», «Иаков и Рахиль», «Рембрандт», «Иероним Босх», «Памяти Низами», «Памяти Леонида Аронсона», «Памяти Рильке», «Марк Шагал», «Сальвадоре Дали» и множество других) говорят о том, что его поэзия всемирна, она прессует суету, она не способна говорить о пошлом или критиковать мещанство: все это просто утюжится, исчезает в некоем прыжке машины времени, которая оставляет лишь духовно значимое, пронзительное, живое...

У него широко открыты глаза «на весь милый, радостный и горестный мир, чтобы насмотреться на него и пить его каждую минуту...» (М. Кузмин).

Илья Бокштейн – поэт александрийской школы. Европейец, русский поэт, он на все смотрит не чужим глазом, не глазом путешественника, выхватывающего экзотические картинки и редкости, – для него все полно, широко, накатило. У него ведь свое путешествие:

Зачем я не урод иль волкодей,
Я мелкодей,
Я солнцу радуюсь –
Бессмысленное дерзко,
наверно, жизнь моя –
летащий суховей,
стремительности
краткая поездка
в бессвечье,
что возмездием грозит
за все несчастья,
что другим достались...

Поэзия, считает он, существует для познания иных миров, где нет ни эллина, ни иудея, ни патриция, ни плебея, ни мужчин, ни женщин.

Только дух, только Абсолют...

3

Помню, дал ему диктофон, и он буквально впился в него.

Жажда высказаться, вообще говорить вслух – сильнее желания влаги.

– Почему ты публикуешь стихи только в виде факсимиле? Это связано с какой-то идеей, с какой-то задачей? Оригинальность? Своего рода фанатизм...

– Владелец типографии мне сказал, что никакая машинистка это не разберет. У нее крошечная головка, она подумает, что ты просто безграмотный человек... Она ведь не понимает, что это особое искусство... А вообще, я не являюсь фанатиком своей идеи, философ вряд ли может быть фанатиком, иначе он перестает быть философом...

У меня было нестерпимое желание разрешить «последние вопросы».

– Кем ты считаешь себя: евреем, русским, израильтянином?

– Это проблема будущего....

– Как так?

– Нужно примириться с тем, как сложилась ситуация... Если мои стихи будут эквивалентированы на иврите – стану израильским поэтом... Возможно, переводы будут даже в чем-то богаче русских оригиналов...

– Анна Ахматова считала, что переводы невозможны. И вообще перевод – трудоемкая часть безделья...

Он молчит. Что-то высчитывает, вымещивает. Я думаю, у всякого крупного дарования есть некая метафизическая сторона, которая пленительно действует на обыкновенного человека, на меня, например...

– Логотворчество позволяет переводчику делать любые изменения языка перевода, чтобы добиться эстетического эквивалента оригиналу... Чем больше усилий и знаний требует перевод – тем больше тонус наслаждения. Что касается моих стихов, то они малодоступны даже в оригинале...

Смотрю на него и вдруг неожиданно для себя думаю, что поэт, которому удалось одолеть, по крайней мере, одну из двух вечных тем – любовь или смерть, уже добился успеха. О любви он не пишет. О смерти? Пожалуй. Но без интереса. Спрашиваю в лоб, с некоторым налетом бесцеремонности:

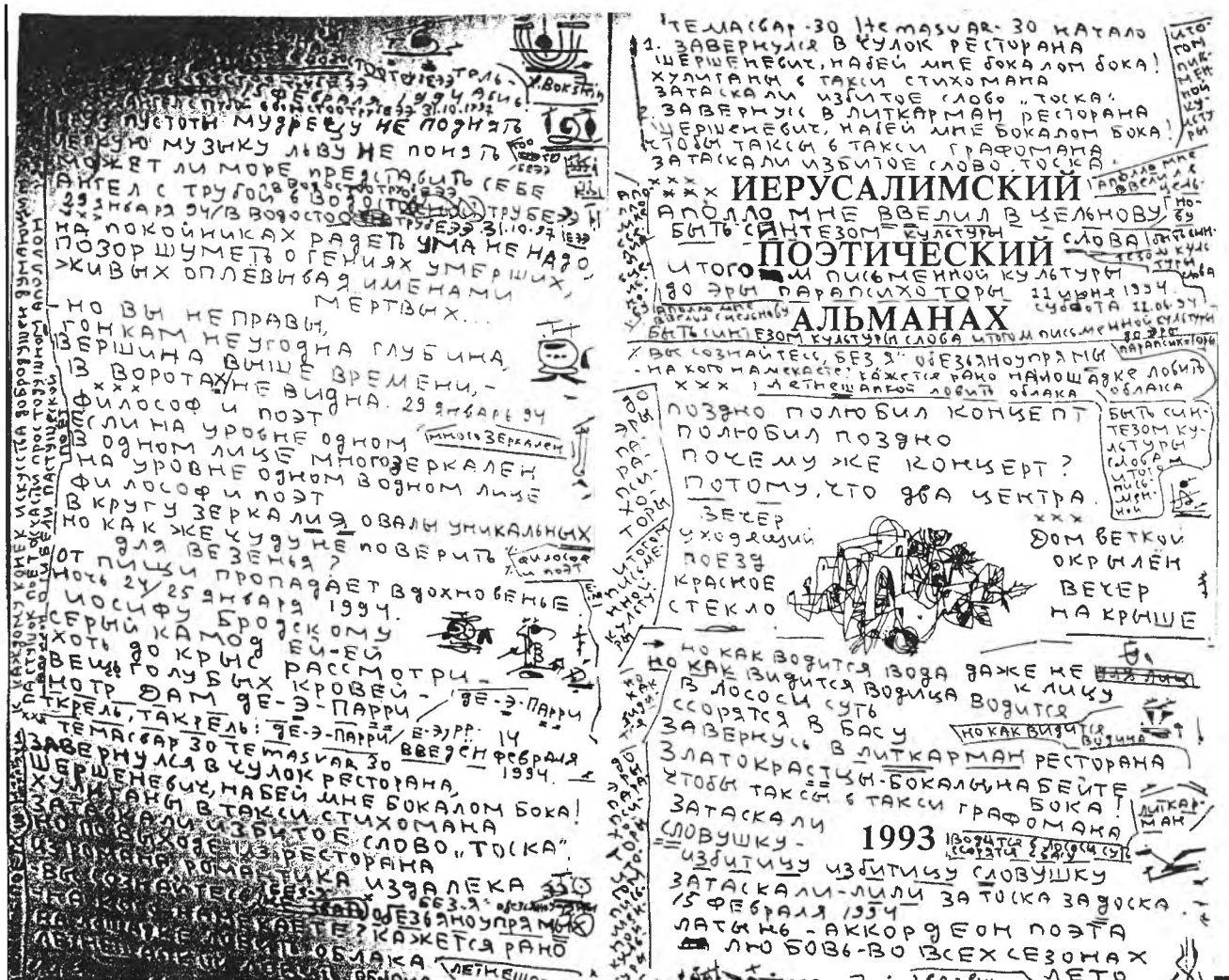
– Что ты думаешь о смерти?

– У меня нет страха смерти. У меня есть страх за гибель моих сочинений. Быть может, этот страх тоже не особенно глубок, потому что я ничего не делаю для того, чтобы их издать. У меня принцип: что само в руки не идет, то не мое...

– А все-таки, какой бы ты себе надгробный памятник придумал?

– Я хотел бы, чтобы мастера сделали изображение, потому что разум рождается зрением... По еврейскому закону нельзя, а жаль...

Из прочих достопримечательностей его личности: он добр, как блаженный, кроме рукописей раздает все, что только можно поднять и унести. Телефона у него нет и ему



В таком виде поэт Илья Бокштейн издал свою поэтическую книгу «Блики волны» («Моря...»). В «Иерусалимском поэтическом альманахе» печатался его цикл стихов «Горнист телептиций»

не надо лукавить, будто его нет дома. «Один звонок в неделю, – говорит он, – и я был бы выбит из колеи». Он кажется мне надежным, как старая кирпичная кладка. Он мог бы сказать о себе, как Бабель: «Я не сволочь, напротив, погибаю от честности...»

– Ты иврит знаешь?

– Плохо.

– Двадцать шесть лет – и все плохо?...

– Мне языки очень нравятся... Английский, французский, немецкий – это инструментальные языки, язык фортепьяно... Я дам зеленый свет ивриту только 1 января 2001 года после окончания моей русской программы. У меня есть исследования алфавита – еврейского, индийского, арабского, латинского... Если латинский

алфавит – философский, арабский – изящный, сахарный... то иврит – духовный... В моем исследовании еврейский язык назван гигантропическим. Индийский язык – мистическим... Западно-европейские языки – языки инструментальные, органа, фортепьяно, русский – оркестровый, оркестрово-экологический, оркестрово-речной, оркестрово-скульптурный... А иврит – язык прошлых и будущих цивилизаций. После иврита следующий гигантропический – хинди, бенгали, немецкий, но уступают ивриту... Идея чего-то предельного, наследница трех великих стратегических идей иудаизма: концентрация энергетического тонуса в слово, создание словесного метатела и принцип генетического скачка... Эти

идеи сверхсложны, логотворчество как раз их и разрабатывает. Но логотворчество в его теоретической части создано на русском языке, а не на иврите, русская культура прошла все стадии, создала шедевры во всех отраслях культуры, но при этом имела в своем распоряжении тысячу лет развития... И все же логотворчество родилось в такой осевой стране, как Израиль. Владимир Соловьев считал, что еврейство можно сопоставить только со всем человечеством – если поместить на одну чашу еврейский народ, то на другой чаше окажется все человечество... Ментальный потенциал человечества (я цитирую сейчас свою «аверону») равен потенциалу всего остального человечества без Израиля. Ну там, правда, говорится, что он меньше потенциала Христа, потому что потенциал Израиля – это человечество в миниатюре, а Христос – это больше, чем человечество, это центральный гармонический образ мироздания...

– Ах, вот почему поэты, Иосиф Бродский, например, бегут...

– Куда бегут? – удивляется он.

– От иудаизма...

– «Иудаизм разве религия? – вопрошал Гейне. – Это несчастье!» Иудаизм – религия статуса, религия менталитета, в Израиле не может быть другой религии. Какое может быть христианство в солдатской стране? Такая страна связана с вопросами безопасности, а христианство требует комфорта, ухоженности, утонченности, это явление, которое возникло позже, на рубеже гибели эллинизма и религии самых развитых цивилизаций – греческо-римской, в то время как еврейское сознание разрабатывало проблемы платонизма, эзотерического космоса. Эти проблемы достигли апогея в Каббале. Апогей еврейской мысли в Эрец-Исраэль – начало нашей эры...

Для развития разных культур требуется большой период времени, хотя мы и живем в период ускорения – крещендо, на то, на что раньше требовались сотни лет, сегодня – всего только десятки. Культура – олицетворение времени. А пока время не прекращается, оно принимает другие формы,

и культура принимает другие формы... Физика стала сложнее литературы. Начиная с открытий Эйнштейна, с открытий психоанализа, естественные науки стали сложнее гуманитарных...

– С тобой за последнее время ничего из ряда вон выходящего не случилось? Только это? – ехидничаю я...

– Ну, как же, случилось, именно случилось! – с жаром отвечает он. – Я же говорю: физика сделалась сложнее... Совершенствование этики-нравственности связано с усложнением образно-художественной системы мышления. Усложнение естественных знаний само по себе мало что прибавляет человеку с точки зрения духовного мира. Ведь у человека, кроме научных знаний, потребность в духовности... Наука никогда не компенсирует потребности человека в фантазии, в художественном оформлении потенциала духа, она никогда не может компенсировать даже религии... А поэзия – вообще синтез любого гуманитарного комплекса. И слово, и ритм, и музыка, и живопись... Логотворческая поэзия идет уже по вертикальной шкале к эволюции сознания будущего. Мы подходим к той грани, которая требует принципиально иных способов передачи информации...

Его программа, касающаяся русской поэзии, почти завершена. В поэзии логотворческой – он в самом начале.

Работы невпроворот. А казенных коштов – нет. «В тюрьме я был на казенном коште, правда, этот кошт, как говорится, «азохен вей» – не приведи господь... Однако не надо было ничего искать самому...»

Впрочем, он не жалуется, хотя жизнь на пособие по старости для одиноких схожа с жизнью Ленина после 1924 года: и не хоронят и жить не дают...

В доме, где живёт Илья, установили лифт, и Илья должен теперь платить за квартиру много больше. Два года назад он получил стопроцентную инвалидность. Потом шекелей 200 срезали. Перестал получать помощь от Союза писателей (была два раза в год, нынче отменили: писатели – негодный

товар для политиков). Государи-императоры – те хоть золотую табакерку жаловали, а за послушание и поболее одаривали. Вообще, Бокштейн считает, что при государе Николае I в стране были свободные нравы. Вот пример.

Мужик в харчевне плюнул на портрет царя.

– Ты на кого плюешь? Это же Государь наш, Николай Павлович.

– Это тебе он Государь, а мне он Николка. Был Николка и есть Николка, плюю на тебя, Николка!

Мужика взяли, доложили царю.

Царь говорит:

– Отпустите мужика, скажите ему, что я на его портрет тоже плюнул.

Илье Бокштейну, философу и поэту, все же на жизнь хватает.

За двадцать шесть лет ни разу не покупал одежды, вот даже в двух рубашках сразу ходит. Кроме ничтожных расходов на питание и расходов на книги – никаких других.

И работа, работа, работа...

Правда, иногда появляется на поэтических вечерах. Об одном из них писал Андрей Вознесенский: «А после конца вечера, вскочив на сцену, потусторонний Бокштейн, похожий на тролля, пел свои переводы Лорки, которые куда свежее опубликованных у нас».

А он все недоволен:

– Я самоучка-дилетант, не получивший даже высшего разряда. Я видел всего два города: Москву и Тель-Авив. Остальные – в альбомах. Во сне, в воображении. Искусство велико тогда, когда не зависит от реальности. Наоборот – реальность зависит от искусства. Искусство создает свою трагическую реальность, избавляет человечество от трагедии реальной. Вам куда, на автобусную станцию? Заметили ли вы, что там, внутри здания, свои города, улицы, закоулки, мостики. В особенности на шестом и четвертом этажах – бесконечность пространства, устремленность, а с боков, наоборот, пространство идет уже на тебя. Пятый побочный этаж в желто-розовых тонах напоминает становление

сознания от ребенка до юноши, в то время как шестой – зрелость, раскрытие всех возможностей...

Нет у него даже маски Велимира Хлебникова. У него вообще нет никаких масок.

Август 1997 года

P.S. Это эссе опубликовано в «Иерусалимском журнале» (№ 2, 1999 г.) всего за несколько дней до смерти Ильи Бокштейна (18 октября 1999 г.). Похоронен 20 октября на тель-авивском кладбище «Ха-яркон».

Незадолго до смерти Ильи, как всегда, в понедельник, совершил свой привычный путь из Яффо в Тель-Авив на Каплан, 6. В Союзе писателей в понедельник приемный день. Он шел посмотреть на людей, почитать стихи, обменяться новостями. Сообщил, что врачи настоятельно требуют, чтоб лег в больницу. А он не хочет. Зачем? Смерти он не боится, разве что обеспокоен судьбой собственных рукописей. Впрочем, кому они там нужны, в государственном жилье для пожилых репатриантов? А вообще он – счастливый человек, жил, как хотел, писал, что хотел, даже пережил Иосифа Бродского...

Попросил, чтоб я принес ему мой экземпляр «Бликов волны». Книга оказалась при мне. Он написал на обложке:

Вдохновенье –
Веточкина шалость
Веткою поветрена строка
Вспышка озаренья и усталость
душная рутина и тоска...

Он часто говорил о «тоске, которая его непременно задушит».

Я сообщил ему, что вот-вот выйдет второй номер «Иерусалимского журнала» и там – мое эссе о нем.

– Неужели? – по-детски обрадовался он, но вдруг стал нескладно серьезным.

Снова попросил книгу. Написал: «Илья Бокштейн. Воспитательная соната. Дилляр-2» (Это еще предстоит разобрать).

Еще с кем-то разговаривал. Выбирал между больницей и Музеем Израиля в Иеруса-

лиме, где была выставка Василия Кандинского. Когда-то так же выбирал в Москве между Библиотекой иностранной литературы и Израилем. Тогда, поколебавшись, выбрал Израиль.

Теперь – Кандинского...

Вел еще какой-то запутанный рассказ...
Словно дорогу или нить.

Все навевало мысль о договоре, заключенном со смертью.

Осталось впечатление чего-то трогательного и безысходного.

Как сон изнутри.

Тут пришли спасительные посетители. И я пустился в мелочные разговоры.

Все же после выставки Илья побрел в больницу.

Обычно на рукописях, которые он дарил, тщательно проставлена дата. Иногда даже часы и минуты. В этот раз дату не указал.

Кончилось его пространство. Кончилось и время.

Увидел его уже в морге. Кто хочет узнать, как он выглядел – смотрите рисунок Митурича «Хлебников на смертном одре». Сходство потрясающее.

Один к одному.

А мы еще гадали...

Теперь надо разобрать его рукописи. Тысячи страниц, исписанных вкривь и вкось. То, что сейчас будет печататься, – стихи двадцатилетней, а то и большей давности. Впрочем, интересно начать именно с них. Будет очевиднее, к чему пришел светлой памяти поэт Илья Бокштейн.

Все, кто знал его, подтвердят: а ведь действительно, светлой...

Он был чист, как непрожитый день.

Р.Р.S. Увы! Всё закончилось так, как и предполагал Илья Бокштейн. Интуиция у него была потрясающая. Когда суд, наконец, разрешил вскрыть двери – оказалось, что все книги и рукописи поэта исчезли. Комендант утверждал, что надо было скорее освободить квартиру и книги и всё прочее просто выбросили в мусорные ящики. Невежливо! Да и, скорее всего, неправда. Книги были ценные. Поодиночке позже их стали

находить в букинистических отделах книжных магазинов. А рукописи – тысячи листов пропали навсегда. Впрочем, это взгляд печального оптимиста. Где, как не на Святой Земле, являться чудесам...

Какой я символист?

Я симфонист.

Различье кардинально, но не слыш-
- ут-ки – литобыватели, и лишь
везде в поэзии господствует
унылый передвиж.

Восковое личико в окне.

За окном кирпичика ладошки.

Штык трубы с лицом помятой кошки

Штейнеровской молится луне.

Шевелится потихоньку крыша,

Словно плащ монаха, что под ней.

И страна, притихшая, как хвост

межстенной мыши,

За диваном ждет чуланных новостей.

я хочу ничего не хотеть

я хочу никуда не лететь

я хочу не совсем умереть-

полежа-а-ать

мы, помнишь, с тобой говорили,

ты где-то показывал чудо.

глаза у тебя, как в могиле,

зачем же ты вышел оттуда?

латынь – аккордеон поэта.

любовь – во всех сезонах лето.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ИЛЬИ БОКШТЕЙНА

21 ноября 1999 года. Тель-Авив, ул.Каплан, 6
«Бейт Черняховски» («Дом писателя»)

Ефрем БАУХ

Поэт, прозаик, председатель Федерации Союза писателей Государства Израиль, Союза русскоязычных писателей Израиля (1985–2014). В Израиле с 1977 года.

Могу выразить сожаление, что на сегодняшний вечер собралось немного людей. Между тем, речь идет о серьезном, незаурядном человеке, который тихо жил и тихо ушел. В этом зале, при многочисленной публике, Илья выступал не раз. И всегда потрясал его переход из зала на сцену. Поначалу он сидел где-нибудь в углу, а потом выходил на сцену и тихим голосом говорил: «Ну вот... Я прочту новые стихи...» И сразу преображался. Голос становился громовым, так что пробуждались и те, кто был в полудреме. Говорил очень здорово. Это была даже не мелодекламация, а жизнь во время разговора, которая обычно сопровождалась аплодисментами, хотя, думаю, 35-45% из сказанного сидящим в зале было непонятно...

Я знаю Илью, по сути дела, с самого приезда. Он приехал раньше, в 1972 году. Его видели на улицах города, потому что он очень много ходил пешком, каждый день вышагивал весь Тель-Авив, он был влюблен в этот город и был частью этого антуража, этого пейзажа. Он даже собирался написать книгу о Тель-Авиве, о его архитектуре. Вообще он был влюблен в архитектуру, в архитектуру Тель-Авива, в частности, многие даже удивлялись, ну что он мог здесь найти...

Трудно было представить, что его не будет...

Он часто приходил сюда, в этот Дом писателя. Однажды, кажется, в мае, при-

шел очень взволнованный и просил позвонить хозяйке хостеля: если с ним что случится, он поручает мне отвечать за все. Я был очень удивлен: тебе еще жить да жить, ты человек молодой, много ходишь, выглядишь нормально... ну, как всегда заросший, так мы уже к этому привыкли...

Но он настаивал: плохо себя чувствует...

Потом еще пришел через какое-то время, сказал, что врачи требуют, чтобы он срочно лег в больницу, а он не хочет...

Мы с Леонидом Финкелем стали убеждать его не противиться врачам, есть вещи необходимые...

Говорили обычным голосом, не чуя опасности, понимая, что он будет жить долго. Потом кто-то сказал, что у Илюши болит нога, потом вдруг инсульт случился. Из одного отделения переводили в другое... Вообще, все это покрыто мраком...

Для меня его смерть – сильный удар.

В Израиль он приехал одним из первых. Тогда были еще очень общие понятия о том, что делается в Советском Союзе... В Израиле что-то знали о «евреях молчания», вроде бы «там» что-то происходит...

И вдруг приехал Илья, довольно яркая личность. Сразу вышел на людей, которые играли какую-то роль в литературе. Это был Эзра Зусла (он умер через несколько лет) – очень интересная фигура из поколения Бориса Пастернака, человек, прекрасно знавший русский язык, – он молодым уехал в Израиль. Перевел на иврит многих поэтов, в том числе Пастернака, Мандельштама. Он первым в те же годы опубликовал перевод Бокштейна. Написал о нем большую статью в газете «Маарив», где

в общем плане рассказал, что за человек Илья Вениаминович Бокштейн. В основном, он ссылался на статью Осипова, которая вышла в журнале «Грани». Между прочим, за публикации в этом журнале Булата Окуджаву исключили из партии и хотя потом восстановили, но немало здоровья испортили.

И вдруг появляется чуть ли не первый свидетель того, что происходит в Советском Союзе. Можно только представить себе, как Бокштейн объяснял, что такое «замоскворецкие Сократы» и проч.

Или «М» – термин Маяковского, это как бы место, откуда должен пойти новый свет. А «замоскворецкие Сократы» – это, естественно, молодые ребята, друзья того же Ильи, которые собирались группами и вели философские беседы...

И вот 60-е годы. Начинается оттепель, затем завинчиваются гайки. По своей раскованности и наивности Илья как-то не очень реагировал на окружение. Его предупреждали, хотели предостеречь от опасности. Площадь Маяковского была тогда слабым вариантом Гайд-Парка. Илья выступал со стихами. И не только со стихами, говорил вещи явно крамольные для того времени, о последствиях его предупреждали дружинники, потом арестовали. Тогда и возникла «антисоветская группа» (без «группы» как-то скучно), куда вошли три человека, которые шли по процессу Ильи Вениаминовича Бокштейна. Осипов, известный нам Эдуард Кузнецов и Иванов...

Илья получил пять лет. Все они сидели в Потьме. Илья рассказывал мне, как читали там стихи, как за него работали, как его охраняли. Когда он вышел оттуда – хотел тут же уехать, но уехать было не так просто... Все это время за ним наблюдала его мать. Ее предупредили: если она не уследит за сыном, его посадят еще раз, но уже надолго. И она, видимо, очень старалась, следила за ним. Он ее за это невзлюбил, он вообще терпеть не мог, когда его преследуют. Ничего удивительного, у него был комплекс человека, который провел пять лет в мордовских лагерях. С его характером и его понимани-

ем мира то был сюрреализм. Он забивался в свою комнату и хотел одного, чтоб его не трогали...

И когда мать хотела приехать в Израиль – он не хотел присылать ей вызов. Говорил мне: «Я не могу через себя переступить». Но потом ему пригрозили, сказали: если не пошлет вызов – лишат пособия. И он решился. И провел с ней 10 лет. И это были лучшие его годы, потому что ее поселили в том же hostеле, она за ним следила, ходила, кормила. И он очень переживал, когда она умерла. Вообще же, он был сдержанный и очень тактичный человек...

Через какое-то время стал своеобразной и необычной фигурой. С одной стороны, о нем писали: «гениальный сумасшедший», с другой: «блаженный». Его часто печатали в журнале «Генезис». Во главе журнала стоял Аркадий Ровнер, связанный с «замоскворецкими Сократами», очень интересная фигура. Он занимался оккультизмом, интересовался Мамлеевым, который жил в Италии. Журнал выходил редко. Там, между прочим, был напечатан роман, в котором довольно странно изобразили Илью в виде блаженного... Казалось, люди, связанные с эзотерическими науками, могли бы воспринимать Илью таким, каким он был... Все же его странность их смущала, вообще они относились к Илье неоднозначно...

Переводил Илью и много писал о нем Ричард Малейн. Несколько статей написал Зусман, но Илья ушел в себя, ни подать, ни продать его было нельзя. И все же в глазах окружающих он был гениальным, непонятым поэтом. Он появлялся на вечерах, ему давали слово, он выступал, но во всем этом был элемент эстрадности...

А Илюша, действительно, был совершенно незаурядным литератором, поэтом, философом, человеком, который обладал огромной внутренней массой знаний, который все эти знания внутренне переработал, обо всем передумал. Ему надо было только открыть рот, чтобы обо всем рассказать... Он всегда страдал оттого, что не мог высказаться. У нас было много встреч у меня

дома, когда он говорил по три-четыре часа, поначалу сумбурно, но потом просматривалась довольно стройная система. Он хотел создать некий мир, понимание этого мира, узлов сознания, центров сознания, открытый мир... Он очень увлекался Гете, в последнее время занимался Эзрой Паундом и Элиотом...

Он потрясал меня абсолютно музыкальным слухом. Иногда, читая стихи, он тут же переходил на какую-то мелодию, мог петь свои вещи на 40-ю симфонию Моцарта. Однажды просто спел всю симфонию. Наделенный удивительной музыкальной памятью, он напевал целые тексты...

Он очень хотел обо всем этом рассказать, его не слушали: «нет, так нет», он не обижался...

Целая история – издание его книги. Он ни за что не хотел издавать ее нормальным способом, хотел исключительно факсимильное издание, так, как им было написано. Он считал, что написанное само по себе – тоже элемент его поэтического понимания мира, которое включает рисунок, даже сноски, объяснение различных его понятий – ведь он создал целый терминологический словарь...

Эта книга – сотая часть того, что он написал, он хотел создать большую, серьезную книгу, где часть будет набрана, а часть в том виде, в каком он напишет. Он шел к этому, процесс подготовки – это была главная часть для него. Кстати, когда книга вышла, он не очень ею интересовался. Мы устроили вечер. Шел 1986 год. Это был единственный на моей памяти вечер, устроенный для Ильи Бокштейна. С музыкой, с выступлениями. Говорили о нем очень красиво, вроде «гениален», хотя позже, исподтишка, бросали: «уродец» – было и такое. Меня это всегда потрясало. Мы все литераторы, живущие нормальной, здоровой жизнью, умеющие за себя постоять, всегда между нами что-то происходит, бесконечная литературная драка... А он – вне этих драк, хотя каким-то краем ситуация его тоже касалась... Его тоже старались уязвить... Он приходил и жаловался: «За что? Я же ни с кем не сопер-

ничаю!» Я пытался ему объяснить, он мучился...

Был период, когда мы встречались очень часто. В особенности в период издания книги часто приходил ко мне.

В 7-8 номерах «Генезиса» вышли его ответы на вопросы. Там 25 развернутых пунктов! Когда он говорил... Все эти «лицерты»... У него же целый словарь! Для непосвященного все это ничего не значит, но когда он говорил, когда он связывал слова, то действительно вставал целый мир, другой мир, находившийся рядом. Для него слово – как полупроводник, если откроешь один лучек, то сразу открываются громадные понятия, связанные со временем, с какими-то людьми, красота и уродство – все было внутри этого маленького полупроводника, маленького ядра. Глубина этой системы была понятна только из его уст...

Илья – совершенно уникальная личность, он прожил тихо, как бы на задворках, хотя всегда находился в центре, тихо жил, тихо и ушел. По идее, он должен был бы не умереть, а раствориться, перейти в иной мир и существовать рядом с нами...

...Пока еще мы не можем открыть его архивы, есть какие-то чисто бюрократические препоны, но когда все это будет сделано, можно будет по-настоящему увидеть Илью Бокштейна, человека и поэта, оригинального мыслителя.

Между прочим, он к себе и не очень подпускал. Тут есть люди, которые видели, как он жил, его маленькая комнатка в хостеле – уникальное место. В углу раскладушка, на которой он спал, книги вдавливали его в этот угол, пространство вокруг него все уменьшалось и уменьшалось, книги на полу, на стульях, буквально везде – он покупал самые дорогие книги, человек, который жил на гроши, помню, купил громадное издание Элиота. Книга была для него целым событием, он показывал ее другим, гладил, жил этой бумагой, этими буквами, их размером и начертаниями...

Элиот – его последняя любовь, он и про- честь все не мог, там очень сложный ан-

глийский. Тем не менее, он этим жил. Книга для него была вещью, которую он не только обхаживал, но обживал всякий раз заново.

Несколько слов о его стихах. Вообще у него было два ряда. Стихи нерифмованные, отличающиеся какой-то красочностью, были и громадные диалоги, почти как диалоги Платона, диалоги, связанные с Гамлетом. Все это было написано белым стихом. Это действительно диалог. Кто-то с ним разговаривал, и он об этом писал. Часто громадные работы: о Гамлете и др.

Чем больше вспоминаю, тем больше думаю о том, что на уровне литературы, философии его как-то всерьез не воспринимал.

Никто не занимался. Можно сказать, что все еще только предстоит, что он начнет новую жизнь, что будут писать о нем книги. Но для этого его надо как-то «двигать». Если найдется личность, которая может посвятить Илье Бокштейну жизнь, чтобы открыть его как поэта. Ницше не получил бы всеобщего признания, если бы не было Георга Бранде...

Я рад, что людей в зале несколько прибавилось, хотя хотелось бы много большего. Я могу говорить много, потому что все разговоры его помню, знаю концепцию его творчества. Почему он к иудаизму относился с уважением, хотя слабо знал иврит? Это не потому, что он не хотел знать язык. Он был настолько загружен своими идеями, которые должен был каким-то образом выразить, что ни на что другое его уже не хватало. Он считал, что иудаизм – это идея логотворчества, создавшая новый мир рядом с миром природы, свой мир. Его всегда потрясали еврейские дети. Этот ребенок, говорил он, его глаза уходят в глубь трех тысячелетий, чего нельзя сказать ни о каком ребенке. Глаза этого ребенка, как телескоп, уходят в прошлое...

Такие у него были интересные идеи. И он к этому относился очень эмоционально. Когда входил в состояние повышенного напряжения, он говорил совершенно гениальные куски. К сожалению, никто этого не записал.

Все пропало.

Михаил ГРОБМАН

Поэт, художник, лауреат израильских и международных премий

Я пересчитал присутствующих – двадцать человек... Маловато. Это то, что мы из себя представляем. Умирает один из нас, человек, который был известной фигурой, достаточно характерной для всех нас, представительной... И как бы вот... Все проходит мимо.

Вероятно, я знаю Илью более других, где-то с 1958 года. Так давно, что даже непонятно, было это или не было вообще. В те времена существовал салон Фриде. Первый салон в Москве, где собиралась такая... шваль... полуантисоветская... Потом оказались – выдающиеся художники, поэты... Все это было очень густо замешано на чтении стихов, философских разговоров, политике, всегда очень много выпивки. Мадам Фриде готовили специальную брагу, все пили, когда окончательно кончалась водка. Илья был одной из заметных фигур в этом салоне.

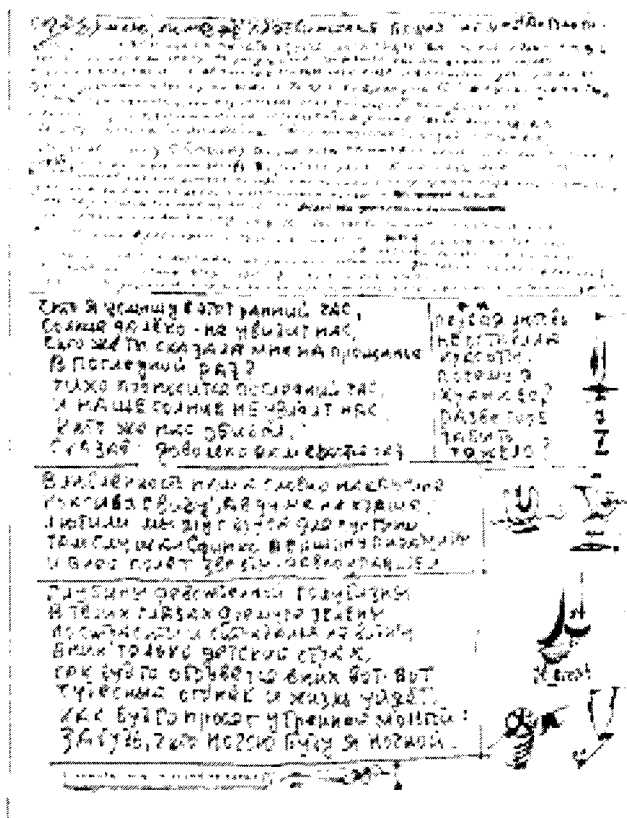
Были и другие дома, а главное – библиотеки. Курилка Ленинской библиотеки, настоящий университет, через который кто только не прошел! Это и композиторы, как, скажем, Андрей Волконский, поэты, например, Олжас Сулейменов – он тогда учился в Москве и еще не был ни министром, ни знаменитостью... просто молодой казахский мальчик... Можно приводить бесконечное количество примеров совершенно невероятных людей, хорошо сегодня известных. Еще одно место, еще одна курилка – Историческая библиотека. Речь идет об очень ранних временах. Тогда еще ничего не было запрещено, только антисоветские книги шли в закрытые запасники, а все, что касалось футуристов, символистов, практически вся философия, в том числе идеалистическая, йога, все мистические книги – все было в открытом доступе, можно было брать с полки, точно в Британской библиотеке... По современному искусству – Пикассо, Матисс, классика модернизма... Большое количество альбомов, прежде всего в библиотеке Иностранной литературы...

Во всех этих местах Илья Бокштейн был завсегдатаем. День в Иностранной библиотеке начинался с того, что в стеклянном коридоре, который называли «аквариумом», появлялись сотрудники библиотеки, затем Илюша Бокштейн, другие приличные, интеллигентные люди, в том числе бывшие советские шпионы – они долгое время провели в разных странах, а потом, после того, как их раскрыли, ушли на пенсию и осели в библиотеках... Много высшей рафинированной интеллигенции.

Илья Бокштейн – неотделимая часть этих трех библиотек (не только этих, разумеется, но и этих в особенности, как самых значительных).

Илья Бокштейн – одна из колоритных и важных фигур того подпольного времени. Он жил на Таганке, если не ошибаюсь, на улице Большая Коммунистическая, около церкви. Жили они с матерью в одной комнате, насколько я помню, совершенно пустой, там ничего не было, ну, может быть, где-нибудь в сторонке, какая-нибудь пачечка книг, но вообще ничего не было, ибо все нужные ему книги, то есть всем нам нужные книги, находились в свободном доступе в библиотеках и не было никакого смысла охотиться за ними, покупать втридорога... Неподалеку от дома Ильи Пирютин открыл свою знаменитую выставку, которая потом переехала в Манеж. Серов тогда воспользовался этой выставкой для того, чтобы победить новых соцреалистов, суровый стиль и остаться при власти, чего ему не удалось.

С другой стороны рядом с домом была Таганская тюрьма, кажется, ее к тому времени уже снесли. Рядом жил Лев Петрович Барашков, совершенно невероятная фигура, он не настолько был стар, чтоб его называли по отчеству, просто оно как-то прилипло к нему, как и к Илье никто не обращался «Илья», только Илюша Бокштейн. Вот две такие странные фигуры ходили по Москве, разумеется, не ограничиваясь Таганским районом. Эти две фигуры могли завести между собой беседу на самые различные, глубокомысленные философские темы, могли забрести куда угодно, куда во-



обще ни на каком метро не доедешь, а потом вернуться обратно, совершенно не замечая пути. Вообще для них вся ночь была впереди, и не было никаких ограничений...

Сегодня таких, как Илья Бокштейн, называют «бродячими философами». Я уже несколько раз наткнулся на такое название. И безусловно, Илюша Бокштейн был одним из них. О чем в таких беседах шла речь, как правило, понять было нельзя. Это было весьма и весьма глубокомысленно, оригинально, часто остроумно, надо было понять его литературную терминологию, он сам должен был рассказать, что значит то или другое слово, никакие словари помочь не могли.

Помню Илюшу на площади Маяковского. С 1958 года мы начали там собираться, причем очень разной кампанией. Там собирались советские молодые поэты, приезжала молодежь, которая называла себя «Бездельники карабкаются на Парнас». Это против Харабарова, Ахмадуллиной, Евтушенко. Бурления происходили и в собственно советской молодой поэзии. И в той, которую даже не назовешь антисоветской, просто она была сама по себе. Естественно, что Илюша Бокштейн принимал во всем этом

самое активное участие уже потому, что там, у подножья памятника Маяковскому собиралось огромное количество поэтов, происходила какая-то независимая от властей, культурная деятельность, которой власти сами были очень не довольны, посылая туда всяких комсомольских деятелей, желая напавить все в какое-то русло, посылая туда бесконечное количество соглядатаев, пытаясь выяснить, нет ли там какой-либо организации.

И вот в один прекрасный день случилось то, о чем все знают. Илюша Бокштейн, самый безобидный человек из всех тусовок, человек, который никогда не участвовал ни в какой критической агрессии, был арестован за антисоветскую деятельность. Все были потрясены, что это именно Илюша Бокштейн. Все заговорили о глупости и ничтожестве Советской власти, если уж она боится и арестовывает такого человека, как Илюша. До какой же степени глупы власти предрежащие!

Но власть знала, что делает, Бокштейн был в состоянии произнести такие независимые слова, которые нельзя было расценить иначе, как антисоветская «деятельность»...

От многих приятелей я слышал, как Илюша отсиживал свой срок. Отношение к нему в лагере было такое же, как и на воле, ему не удавалось вызывать на себя ничей огонь... Совсем ничей – ни левых, ни правых, ни фашистов, ни коммунистов. И не потому, что он как бы ходил между капельками, хитрил, нет, совсем не потому – просто он был таким.

Ефрем Баух сейчас правильно сказал: Илюша был человеком, который не участвовал ни в каких интригах, интриги стекали с него, как с гуся вода, хотя вся наша жизнь, особенно здесь, в маленькой стране, в этом «русском гетто» вся состоит из интриг...

Я много раз пытался засадить его за воспоминания, он знал огромное количество всяких тайн, которые и унес с собой в могилу, некому теперь о них рассказать...

Вообще простеньким его не назовешь. Он был очень честолюбивым человеком, лю-

бил славу, трибуну, был обидчив и страшно обижался на всех нас, на всю публику за то, что мы не признавали его. А он разработал собственную систему, говорил: я вообще не для людей пишу, для славистов пишу... Они будут изучать мои стихи, они понимают мои стихи... Любил рассказывать о каких-то славистах, которые взялись за изучение его творчества, кто-то там приехал, записал все...

Он не был дурачком, который не понимает, где он живет, он желал славы, признания, хотел, чтобы его печатали, огорчался... Но он был настолько занят своими делами – а он действительно был погружен в себя целиком и полностью, что у него руки не доходили, чтобы вплотную взяться за какого-нибудь своего недруга...

Написать какую-нибудь разоблачительную статью?

Он был далек от этого. Интриги, сплетни, черные слова о ком-то не входили в круг его интересов... Он был очень человечным и ничто ему не было чуждо...

Еще несколько слов о группе, которая формировалась вокруг Мамлеева. Это все происходило в Юлинском переулке, на продавленных диванах, это было совершенно дивное место, откуда веяло каким-то советским ужасом. Из книг там была только одна малая Советская Энциклопедия 30-х годов, которая, видимо, сильно мешала Мамлееву, он ее позже подарил мне, до сих пор существует...

После того, как он отдал эту энциклопедию, там наступила полная советская чистота и собиралось там огромное количество совершенно невероятных людей. Это особая ситуация. И это были персонажи Юрия Мамлеева. Их всех потом можно вычислить в его сочинениях.

Активное участие в этих мамлеевских «сидениях», в философских разговорах принимал Илюша Бокштейн. Туда же заходил и Алексей Глебович Смирнов, прозаик и поэт, московский художник, очередное сочинение которого мы собираемся печатать в журнале «Зеркало». Я хочу прочесть фрагмент из его очерка «Герой Наум Ро-

машкин», главу «Очень мало в России героев». Это как раз тот самый рояль в кустах...

«Теперь поговорим о еврейских героях. Очень неслабые были еврейские герои, которых я знал. Ну, например, Илюша Бокштейн – маленький, какой-то почти горбатенький, с большим кривым носом и с ясными детскими глазами. Жил он около огромного Храма Мартина Исповедника на Таганке в старом особнячке со своей, естественно, еврейской мамой. Мама все сокрушалась, какой ее Илюша несчастный и непутевый еврей. Все евреи гладкие, курчавые, толстые, как колбаски, и таскаются с тупыми русскими задастыми блондинками, а Илюша все один и всем не доволен. Был Илюша принципиальный диссидент и писал стихи, как говорил Мамлеев, все больше про пауков и крыс. Я его стихи мало читал, а вот о политике мы с ним говорили много. Однажды Илюша выступил на площади Маяковского у идола с широкими штанинами. До Илюши у штанин, писая, как песики, на ботинки громили, выступали комсомольские поэты: лупоглазый Женя со своим тогда еще молодым кадычком и золотушный подвывной Андрюша, который любил сидеть сразу на двух стульях – в ЦК комсомола и в Госдепартаменте. Эти комсомольские вытики пели про свои Братские ГЭС и треугольные груши, и девицы от их восторженно писали по биссектрисе. А тут появился маленький кривоносый с чуть дрожащим, но очень убедительным голосом Илюша и поведал восторженным идиотам, наконец, свыше освобожденным от сталинизма, что СССР – это не держава, а гнусное скопище одичалых дикарей, не способных к самостоятельной политической жизни, и что СССР надо отдать минимум на столетие под протекторат ООН. Находившиеся до этого в радостном просветлении слушатели шестидесятых как-то затихли и приуныли от таких речей, и у них сразу пропало желание щупать, где надо и не надо, своих дам и рукоплескать Жене и Андрюше. Илюша был гораздо прозорливее многих тогдашних диссидентов – будущих демократов. Действительно, бывший СССР казался не

способным к нормальной политической жизни и нуждается в опеке. Но и сама ООН, к которой тогда взывал Илюша, постепенно и не сразу превратилась в некое подобие Лиги Наций эпохи Деладые, Чемберлена и Муссолини, и мало кого радуют голубые каски, которые не всегда исполняют роль санитарного контроля над безумством. Когда Илюша кончил свою речь и сошел с возвышения, то публика расступилась перед ним, как перед архиереем. Илюше дали самостоятельно уйти с Маяковки, но прошел он недалеко, до Музея Революции. Там его схватили чекисты и повезли прямо в Лефортовскую тюрьму. Произошло это у ворот музея с белокаменными готтентотскими львами, стерегущими зеленые пушки, из которых большевики расстреливали в семнадцатом Кремль. Вообще все большевистские символы в Москве напоминают памятники Кортеса в Мехико, истребившего древнюю столицу инков. Илюше дали пять лет в политической колонии строго режима в Мордовии на станции Потьма. Отсидев, Илюша приходил ко мне в мастерскую на Таганке и долго рассказывал о лагере. Из его рассказов мне более всех запомнился рассказ о бывшем бургомистре города Харькова при немцах – пожилom, очень умном господине, прикидывающимся животным из самосохранения. Он оправлялся в брюки и поедая собственные экскременты, желая казаться безумным. Когда Илюшу поместили с ним в карцер, бургомистр, озираясь, вполне разумно его спросил: «Вы здесь в первый раз, молодой человек? Я здесь уже третий десяток размениваю и скажу вам только одно – не ждите от них пощады», и замолк, продолжая далее, как Мопассан, прикидываться животным. Про Мопассана написал один современный ему газетчик: «Перед концом жизни господин де Мопассан превратился в животное, ходил на четвереньках и поедая собственные экскременты». Не знаю, написал ли Илюша книгу о своих лагерных впечатлениях, но уверен, она б у него получилась интересной».

**Магнитофонная запись
Леонида Финкеля**

Шуламид ШАЛИТ

ЮЛИЯ НЕЙМАН: «СО СТИХАМИ НЕ В ЗАКОННОМ БРАКЕ...»

Всю жизнь стихи читала, стихи писала, стихами спасалась, стихами жила. Но печатно выразится так:

На судьбу я сетовать не вправе:
Мне она отпущена сполна.
Под густыми ветками бесславья
Самопостиженья тишина.
Типографские тугие знаки
Не теснили вас, мечты мои.
Со стихами не в законном браке
Жизнь я провела, а по любви.

А в телефонном разговоре в 1992 году более приземленно: «Существовала я, главным образом, с помощью переводов... Тоска какая...». Потом рассмеялась: «Но оказалось, что переводы — все-таки половина моей души!»

Мне уже доводилось рассказывать, как Цви Арад, лауреат очень престижной в Израиле премии имени поэта Ш. Черниховского, присужденной ему за переводы на иврит классиков мировой литературы, однажды обратился ко мне с несколько неожиданной просьбой: достать ему диккенсовские «Записки Пиквикского клуба» в русском переводе, ибо он приступает к переводу романа на иврит. Зная, что Цви Арад переводит с шести языков, в том числе и с английского, я не удержалась от вопроса, неужели он собирается переводить Диккенса с русского? Он объяснил, что русский перевод нужен ему для ориентации: пусть книга всегда будет под рукой — вдруг слова не хватит, выражения или... интонации. «А лучших переводов, чем переводы на русский, просто нет», — добавил он. Вот к

этому клану — лучших в мире переводчиков на русский — относилась и Юлия Нейман. Фразу Арсения Тарковского «Заткнули поэта рты и радуются, что у нас возникла первоклассная переводческая школа!» — я услышала позднее.

Удивляет же в Юлии Нейман, как и в ближнем круге ее друзей и соратников по жизни и творческим судьбам Семене Липкине, Арсении Тарковском, Марии Петровых другое, их главная тайна: как они при поденной, редко любовной, чаще изматывающей, а порой почти каторжной переводческой работе, сохранили высокую пробу собственного литературного творчества?

Юлия Моисеевна, если слушать ее внимательно и произносить за ней текст не поактерски, а по-ахматовски, голосом ровным, несколько отстраненным, многое сказала о своем времени и судьбах тех поэтов, которые десятилетиями писали в стол:

«Когда же светоч юности потух,
Мы все ж не утратили прежних качеств,
И в темноте мы сохранили зрячесть,
И в оголтелом гвалте — верный слух.
Молчалиники — не воины отнюдь! —
Не до конца мы поддались растленью.
Мы были — то глухое противленье,
Какое правде облегчает путь».

Первые сборники стихотворений талантливейших людей были изданы: Тарковского — в 55 лет, Липкина — в 56, Петровых — в 60, Юлии Нейман — в 67 лет! Так что иногда сквозь звук, казалось бы, приглушенный, прорывается у Юлии Нейман крик, крик отчаянный, внимать больно:

О камень разможжу.
Порву в клочки.
Как сорную траву, из сердца вырву.
С мясом выжгу.
Силком втащу тебя на вышку,
Чтоб сбросить вниз, на острія!..

(О ком это — о мужчине, что обманул? О
желании мести за предательство, измену?)
Нет, горше и печальней...

Как только б не казнила я
Тебя, лжежизнь моя, лжемилость,
За то, что жизнью притворилась!

Много ли ее современников позволили
себе такое признание? И как сказано! Ахма-
това произнесла:

«Как будто крепкой водки выпила!»
Ей очень нравились и другие стихи:
Такие странности во сне мне
видятся впервые.

Мне снилось, будто я в стране,
Где все как есть кривые:
Кривые улицы идут, кривые под руки
ведут,

Как в святочных рассказах
Красоток одноглазых...
И в конце:
Кривые кинулись ко мне
И странно стало мне во сне —
Вот-вот я окривею,
Проснуться бы скорее!..

Ох, как трудно было сохранить свою душу
живу... А и только ли душу?

Написанную в 1939-м году «Дорогу на
Колыму» прятала годами, и никто не знал о
ней:

«Я видела, как по тракту ползут погре-
бальные дроги...»

И этого было достаточно... В 1956 году в
альманахе «Литературная Москва» (Нейман —
мне: «по недосмотру!») опубликовали ее сти-
хотворение «1941», атмосфера начала войны:

Москва тех дней...
Крутой накат событий

Не счесть всех бед, не счесть невзгод.
Но, сверстники, душою не кривить:
Он был как факел — чистый этот год!..

Что же он высветил, этот факел? «Мы
увидали ближних без личин»... И «впер-
вые пережили чувство гордого граждан-
ства». Это бы все ничего, но были там две
идеологически вредные строчки, которые
ей не простили и за которые не печатали
20 лет:

Тот год — разрядка в затхлой атмосфере,
Где ложь гнездилась с гнилью пополам...

Я познакомилась со стихами Юлии Ней-
ман уже в зрелом возрасте, а вот о том, что
она великолепный переводчик, знала дав-
но — пожалуй, еще с юности, когда впервые
прочла ее переводы с еврейского в сборни-
ке Самуила Галкина (книга вышла в 1958,
но я держала сборник в руках чуть позже).
Нейман открывала и открывала русскому чи-
тателю, иногда заново, а чаще впервые, не-
мало поэтических имен. Начинала с Райнер
Мария Рильке (с немецкого), Яна Райниса
(с латышского)... Когда «позволяли» и пе-
чатали, переводила еврейских поэтов — С.
Галкина, М. Грубияна, И. Борисова (Бо-
руховича), А. Гонтаря и других. Когда не
печатали евреев, переводила стихи пред-
ставителей других нацменьшинств, насе-
ляющих Россию, Среднюю Азию, Кавказ и
Закавказье, благо, их было много.

Поэт Семен Липкин, вспоминая о первой
встрече с Юлией и чтении ее стихов, писал,
что его «сверх ожидания поразила лирика
Нейман не только зрелостью мысли, но и
живописностью изображения, что далеко не
всегда совпадает». И познакомил с Кугуль-
тиновым.

По прошествии лет известный калмыц-
кий поэт Давид Кугультинов, прочитав свои
стихи в переводах Юлии Нейман, просто-
душно признался: «Вот уж не знал, что я,
оказывается, такой хороший поэт». И в бла-
годарность добился, чтобы одной из улиц в
городе Элиста присвоили имя Юлии Ней-
ман.

Юлия Моисеевна Нейман родилась в 1907 году в Уфе, в семье врачей. Отца звали Моисей Соломонович Нейман, а мать — Мэра Бенъяминовна Буровая. Начало XX века застало семью деда, Бенъямина Бурового, знатного на Урале меховщика, в Уфе. Отец же Юлии в 1902 году держал путь из тогдашней Митава (с 1917 — Елгава, Латвия) на восток, направляясь в качестве врача в Маньчжурию, где находились российские войска, но в дороге заболел тифом и попал в ту же Уфу.

«Так и встретились мои родители, — писала мне Юлия Нейман, — и никакого еврейского воспитания к моему приходу на свет в семье уже не было».

В доме говорили по-немецки, позднее — по-русски. Знание немецкого поможет и в переводах с еврейского. С детства запомнилось семейное чтение Шолом-Алейхема. «Кажется, — писала мне Юлия Моисеевна, — произведение называлось «Кровавая шутка». И еще из письма: «Помню разговоры в семье о деле Бейлиса. Сути я, конечно, не понимала, но разговоры в памяти остались». Пройдут годы, и Юлия Нейман напишет:

Как распинали вас!
И как дробили!
Как превращали в пепел, пыль и прах!
И в другом месте:
С кого, душа, спросить в глухой ночи?!
С младых ногтей тебя пытали ложью,
Плетьми стегали и сожгли в печи...

Читая в воспоминаниях поэта и переводчика Якова Хелемского (1914–2003), что Юлия Нейман «собиралась надиктовать несколько страниц об Ахматовой», я сожалела, что не успела сказать ему (спустя четыре месяца после этой публикации его самого не стало), что Юлия Моисеевна все-таки надиктовала свои воспоминания, вот они у меня на кассете...

В начале 1990-х годов я познакомилась с сестрами Буровыми. Сначала с двумя, жившими в Израиле с конца 20-х годов прошлого века: Фаня — в кибуце «Кфар-Гилади», на границе с Ливаном, Фира — в мошаве

под Нетанией, а через некоторое время — и с двумя другими, Раей и Бадей, новыми репатриантками, которые как сионистки, долгие годы провели в советских тюрьмах и лагерях и только в конце жизни приехали в Израиль. Москвичка Юлия Нейман оказалась их родной племянницей. Их отец был братом матери Юлии. Хоть и говорят, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Радиопередача о Юлии Нейман вышла в эфир в январе 1993 года, позже я ее обновляла.

Кто послал Юлии Моисеевне кассету — они или я сама, не помню. Впервые ей лично и ее творчеству была посвящена «целая, отдельная, именная» передача, а стихи звучали на музыку Шопена, и я как будто видела доктора Неймана за фортепьяно, и он внимает стихам своей дочери.

А особенной радостью стало для нее узнать, что я люблю и творчество ее ближайшей подруги — для меня Марии, для нее Маруси, Петровых. Тогда-то она выразила желание и готовность рассказать и об А. Ахматовой. Но — рассказать, а не написать — то ли не хотелось, то ли мало сил оставалось, а я же видела ее изменившийся почерк, если сравнить с правками на полях машинописных страниц со стихами разных лет, но ведь не думала об этом, да и кто тогда мог знать... Общение с сестрами продолжалось, переписка с Юлей — реже, и я уже называла ее только по имени, несколько раз со слов поэтессы записывал Лева, сын Раи, одной из сестер Буровых. О себе он мало рассказывал, но со временем я узнала, что этот милый и добрый человек, Лев Брук, известный в России и за ее пределами ученый, доктор химических наук, профессор.

Из письма Юлии Нейман: «Мое еврейство играло, по-видимому, роль дополнительного отрицательного фактора...» Уж какая доверительная дружба связывала ее с Марией Петровых и Арсением Тарковским, а на эту тему и с ними не говорилось. Хочется сказать и некому сказать. Еврейская тема, как камешек, всегда была на донышке бокала, и собралось тех камешков, пожалуй, на целый сборник. Даже в третьей книге «Причуды

памяти», самой полной, это 1988 год, стихов на еврейские мотивы практически нет. Они были мне любезно присланы специально для той радиопередачи.

Несколько раз замечала странную особенность в ее стихах: в одном сочинении задать вопрос, ответ на который обнаружишь в другом, как золотое колечко, скатившееся по ступенькам одного пролета, найдется через два.

Пусть (в русской традиции) она называет патриарха Ицхака Исааком, а Ривку — Ревеккой, но материал чувствует по-своему, осмысливает глубоко и «живописностью изображения» владеет в полной мере. Пунктиром: умерла премудрая Сарра и грустит ее сын Исаак...

Страшно в мире осиротелым!..
Знала мать — лишь она одна, —
В этом мире скорби и страха,
Как глубоко уязвлена
С юных лет душа Исаака.
Ибо, связан и обнажен,
Ни пред кем ни в чем не виновен
Под отцовским смертным ножом
Он лежал, как жертвенный овен. —
Прав ли Ты, о, Господи сил! —
Исаак взывает доньне, —
Ты отца тогда пощадил,
Но зачем Ты забыл о сыне?!
<...>

В каждом мне мерещится враг.
С кем, скажи, свою боль избуду?!
И возвел глаза Исаак,
И увидел: идут верблюды...

И той же картиной идущих по пустыне верблюдов начинается следующее повествование — о Ривке-Ревекке. Оно чарует музыкой и сценографией, увлекает читателя-зрителя на сцену, в театр:

Шли верблюды, покачивая
перегнувшимися горбами,
Шли верблюды, пожевывая
смеющимися губами.
И качаясь, они прикрывали
свои воспаленные веки,

И дремалось Ревекке,
все время дремалось Ревекке.
Но внезапно она
пробуждалась тревожно и странно:
Что свершается с нею —
любимой сестрою Лавана?
Кто велел ей собраться?
Чья неодолимая сила
Увела ее из дому — юную дочь Вафуила?
Напрягает Ревекка

дремотную память свою:

Началось у источника.
Раб, неизвестный по имени,
Вел усталых верблюдов,
и вдруг говорит: — Напой меня!
И послушно она отвечала ему: — Напою.
Вспоминает Ревекка:
«А может быть, все это снится?
Может, только мерещится
в зыбком полдневном бреду?»
— В Ханаанскую землю
невестой пойдешь ли, девица?
И, себе удивляясь, она отвечала: — Пойду.

Это из дорогих Юлии Нейман «еврейских стихов», там и Юдифь, и Кумраны, но и Илья Эренбург, Самуил Галкин...

О встречах с Анной Андреевной Ахматовой. К тому времени по моей просьбе к Юлии Нейман уже несколько раз приходил пианист, музыковед и добрейший человек Борис Погреб (сын поэта Сары Погреб). Они подружились, и Боря принял самое активное участие в ее жизни — в последний и труднейший период. Он охотно вызвался записать ее голос на кассету и затем прислать мне ее в Израиль.

И вдруг звонок из кибуца «Кфар-Гилади». Бадя, младшая из сестер Буровых, огорошила: «Юлька просит прислать ей вызов в Израиль. Ни одна из нас, сестер, не в состоянии этого сделать...»...

Они живут далеко от центра, у всех проблемы со здоровьем, просить помощи не у кого, кроме как... у меня. Пройдет время, и музыковед Павел Юхвидин, тогда еще незнакомый мне, напишет:

«Я полагал, что поэтесса Юлия Нейман для Вас, как для музыковеда — Брамс или

Шостакович. Да, он знает биографию своего героя, но воспринимает ее отстраненно... Признаться, я и не подозревал, что Вы столь близко к сердцу принимали все обстоятельства последних лет жизни тети Юли и вообще о них знаете... Тогда, когда Юлия Моисеевна просила у Вас вызова, никого из нашей семьи здесь в Израиле еще не было».

Разумеется, я согласилась послать вызов, узнала, какие данные о себе Юлия Моисеевна должна мне прислать, и написала ей пространное письмо, в котором объясняла, что в кибуц ее по возрасту не примут, но что пожилые репатрианты получают помощь, а если ей удастся продать квартиру, то это будет замечательно, потому что значительно легче будет на первых порах арендовать не просто квартиру, а хорошую квартиру и в центре.

Письмо датировано третьим ноября 1993 года. И время как будто пошло вспять. Цитировать себя, право, неловко, но вспомнилось, как удивляло в то время, что «весь Израиль» — на улицах, в автобусах, в банке, на пляже — заговорил вдруг по-русски. Поэтому на решительный тон Юлии Моисеевны: «Арабов я не боюсь!» не отреагировать никак нельзя было, и я читаю в своем письме: «Вы думаете, идешь по улице, а вокруг одни арабы? Ничего подобного: идешь по улице, а вокруг одни евреи или... русские, которые тоже почти все евреи».

При этом Россию искренне любила, обращаясь к ней лично, как еврей к Всевышнему:

Пусть по паспорту — инородка я,
Не твоя ли во мне печаль?
Не в тебя ли я — сердцем кроткая,
И гневливая не в тебя ль?!,

а заканчивала стихотворение «России», как истинный патриот:

Сколько б сору вокруг ни плавало,
Ты ни в чем не повинна, Русь!

Узнав от Марии Петровых о том, что ее любимый ученик, а потом и друг Толя Якоб-

сон, педагог, поэт и переводчик, покончил с собой в Израиле, Юлия Нейман, потрясенная, как все, кто его знал и любил, реагировала «по-советски» — одна за всех. «Приказали» ведь уезжать из СССР единицам, тысячи боролись за разрешение сделать это. Юлия Нейман в стихотворении «Изгнанникам»:

Вас мучит голод по друзьям былым,
По горькой и горючей мешанине,
Той, что осталась родиной и ныне,
С которой жребий ваш — неразделим.
Вам приказали распрощаться с ней.
Разлуку вам как милость даровали,
Подозревая, что она страшней,
Чем каторга, чем смерть
в глухом подвале...

В то время как все близкие — родные и друзья Толи Якобсона — знали о его проблеме. Ностальгия, тоска по друзьям? Безусловно! Но «психическая болезнь — это подлая, вероломная вещь» (слова сына Александра), попытка суицида была не первой, эта удалась...

Из стихов поэтессы:

...А кто привержен к слову — для того
Язык по силе не уступит крови,
Обязывая больше, чем родство,
Затем, что изначально мира — в Слове.

Прошло совсем немного времени, и тут Боря сообщил мне, что Юлия Моисеевна упала, стала лежачей больной, почти совершенно не ходит. Ничего не сломала, но сильно ушиблась. Муж дочери Ирины тоже инвалид, поэтому дочь не может ухаживать за матерью. Но Боря будто бы уговорил переехать к Юлии Нейман ее внучку с мужем и сыном... А потом новое падение: «а теперь вот снова упала и сломала ногу»...

Боря сожалеет, что способствовал переезду внучки к бабушке. Юлии с ними плохо, они невнимательны (он употребляет более жесткое определение). Боря кается, я сочувствую и виню себя за письмо. В кибуц ее бы не приняли, но стоило ли писать о квартире?

Узнаю, что Юлия Моисеевна давно передала дочери все свои права на жилье, так что продать свою квартиру не может. Чуда не произошло, все было поздно. Юлия Моисеевна очень страдала. В начале февраля 1994 года Боря позвонил и сказал, что Юлия Нейман скончалась (5.2.1994).

Боря говорил, что они вместе с Юлией слушали мою передачу, и она плакала и была счастлива, что еврейский цикл ее стихов впервые прозвучал в эфире и что произошло это именно в Израиле! Вскоре после ее ухода часть стихотворений была мной опубликована, а потом стихи «разбегались» по многим сборникам и антологиям... В этом мое утешение? Да, в какой-то мере.

И вот ее нет, а голос остался. Она рассказывает о знакомстве и встречах с А.Ахматовой. Скажу откровенно, в устных рассказах Ю. Нейман нового почти ничего нет, со дня ухода Ахматовой о ней написаны тома... Есть милые детали, факты личной биографии Юлии Нейман: познакомилась с Анной Ахматовой при встрече Нового, 1955-го года, в гостях у Марии Петровых. Там же, наутро, читала ей свои стихи. До того дня и А.А. знала Юлию Нейман только как переводчицу. Позднее Юлия снова читала Ахматовой свои стихи, но уже у Ардовых на Ордынке, 17, кв. 13...

«Между прочим, Анна Андреевна хорошо принимала их (стихи), а они по тем временам были очень дерзкими. И она говорит, что вот у вас нет такой извиняющейся ужимочки, которая есть у очень многих наших современных... После этого стала я там бывать, пока она жила в Москве, и ездила провожать ее до Ленинграда. Между прочим, тогда меня поразило то, что у Пуниных она была не то, чтобы нежеланной, но и не слишком опекаемой гостьей. Насколько она была окружена преклонением в Москве, настолько в Ленинграде не очень о ней заботились... Однажды, водя меня по городу, она сказала: «Вы с гордостью сможете сказать, что вашим гидом была Ахматова»...»

Я долго жила под впечатлением горестной вести о смерти Юлии Нейман. В стихотво-

рении, посвященном памяти Марии Петровых, она писала:

На листьях, на небе — тончайший налет
Сгоревшей судьбы или просто печали.
Готовься в дорогу!.. Вот-вот отплывет
Суденышко то, что дрожит на причале.
Проводят молчаньем. Не скажет «прости»
Вослед тебе сверстник твой,

твой собеседник:

Тебя обогнал он на этом пути,
Ведь ты убываешь одна из последних...

Ахматова, даря Юлии Нейман сборник своих стихов, написала в посвящении кратко и выразительно: «Прекрасному переводчику и настоящему поэту».

Оценки ее отличались четкостью и бескомпромиссностью, порой весьма нелюбимой. Заслужить добрый отзыв Ахматовой почитали за честь многие даровитые литераторы. «Настоящему поэту» — означало наивысшую оценку.

Книгу «Причуды памяти», вышедшую при жизни поэта, в 1988 году, тиражом в 7 400 экземпляров, быстро раскупили, больше ее книги не издавались. Нужны ли сегодня в России ее стихи, сказать трудно, но факт, что в интернете много подборок и целые страницы в воспоминаниях Я. Хелемского, И. Лиснянской, Б.Сарнова.

Вот и мои заметки — дань памяти и уважения к замечательному Мастеру поэтического слова Юлии Нейман, несмотря на время и обстоятельства никогда не забывавшей о своем кровном родстве со своим народом.

О смысле поэтического творчества Юлия Нейман скажет:

Стихи пыхтят, стараются
С людьми вступить в родство
И соком наливаются
Из сердца твоего.
Удобрены, ухожены
В дожди и недород...
А вдруг да станут гожими
Кому-то в трудный год?!

Искусство быть евреем

Оксана ЯБЛОНСКАЯ

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС (фрагмент из книги «Маленькие руки»)

Оксана Яблонская – выдающаяся пианистка современности, родилась в Москве, училась в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П.И. Чайковского в классе Анаиды Сумбатьян, затем у легендарного Александра Гольденвейзера. После блистательных побед на фортепианных конкурсах в Париже, Рио-де-Жанейро, Вене подала заявление на получение американской визы – всё равно, кроме участия в конкурсах никуда на гастроли не выпускали (кто-то назвал её «лучшим секретом советской эпохи»). В общем, спустя два года уехала из Москвы, точнее, из Советского Союза благодаря участию таких звёзд, как Леонард Бернстайн, Стивен Сондхейм, Ричард Роджерс и Катрин Хепберн.

После дебютного выступления Оксаны Яблонской в 1982 году в Лондоне, в легендарном Queen Elizabeth Hall, газета «Дейли телеграф» отметила: «Яблонская принадлежит к такому типу пианистов, которые естественно, с легкостью достигают того, к чему стремятся другие музыканты всю свою жизнь».

И действительно, она получила признание более чем в сорока странах мира. Записи её выступлений удостоены Гран-

При на международном конкурсе Общества Листа.

Долгие годы Оксана Яблонская – профессор одного из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки – Juilliard School. Она ведет мастер-классы, ее ученики блистательно демонстрируют школу Яблонской по всему миру. «Она самый темпераментный член жюри в престижных музыкальных конкурсах...» (Владимир Крайнев).

«Секрет советской эпохи» был отчасти раскрыт. Сегодня Оксана Яблонская – гражданка Израиля, что называется, у родного берега...

Оксана – типично украинское имя, деревенское, очень простое. Это в последнее время оно стало популярным, а раньше никаких Оксан в городах и в помине не было. И фамилия моя – Яблонская – не то польская, не то русская, хотя и мама и папа мои были евреями, правда, нерелигиозными или притворялись такими. Я тоже не прошла религиозного еврейского воспитания. Помню, в Риге, во время гастролей, подружилась с Эллой Мейлиker. Однажды она показала фотографию – стоит брат Эллы, а на нем какая-то белая шаль. Я удивилась: он что, болен? Элла объяснила, что это талес. Пра-

воверным евреям полагается надевать талес при молитве, во время служб, на церемонии бар-мицвы. Для меня это было откровением. Да и внешность у меня русская, по русским понятиям. Обычно за русскую меня и принимали.

Помню, в Норильске, на гастролях, я познакомилась с одним солидным мужчиной, который, как мне кажется, был городским прокурором. Он посещал все мои концерты, всегда был с букетом цветов. «Ничего себе, – думала я, – на улице мороз в 50 градусов, вечная мерзлота кругом, а он приходит на каждый концерт с живыми цветами!» По тем временам это было просто невероятно!

Был дикий холод, я выходила на улицу, прикрыв рот платком: шапка, под ней платок, через дырочки маячит белый свет. И – бегом! Иначе – замерзнешь насмерть. Прибежала так однажды в ресторан. Еда была очень интересная, в основном оленина, и главное – тепло! И вдруг вижу – мой поклонник. Конечно, он тут же пригласил меня за свой столик. Мы разговорились. В то время как раз начались гонения на Солженицына. И он стал что-то говорить о Солженицыне, потом о Евтушенко, и, наконец, перешел к наболевшему – начал клеймить евреев.

Я слушала некоторое время, а потом говорю:

– Пожалуйста, не переходите границ. Мне как еврейке очень неприятно слушать ваши откровенно антисемитские разговоры.

Что с ним стало! Он вскочил, и вдруг, видно, от неожиданности, завопил на весь зал. Упрекал меня в хитрости, вот, мол, прикидывается! Даже имя свое поменяла!

Для меня это было шоком. Дело было даже не в публичном оскорблении и не в том, что он нес несусветную чушь. Главное – такой человек решал судьбы людей. Как может принять справедливое решение относительно еврея такой, с позволения сказать, прокурор?

В другой раз я прилетела в Казань, меня встречали на аэродроме. Вышла из самолета, в дубленке а-ля Лара из «Доктора Живаго», под горлышко, в шапке боярской, под



Пианистка Оксана Яблонская
и композитор Родион Щедрин

шапкой – русский национальный платок. По слухам, также была тогда молода и хороша собой. И вот встречающий администратор филармонии говорит вслух, глядя на меня:

– Посмотрит – рублем подарит!

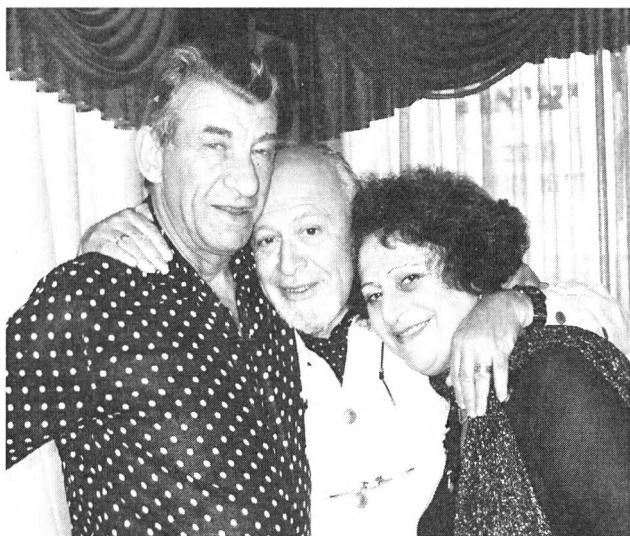
Мол, есть женщины в русских селеньях. А я ему сказала:

– Успокойтесь, я еврейка!

Он удивился, потом рассмеялся. Позже он мне сказал, что никто из артистов так не спешил признаваться в своем еврействе. Он проникся ко мне симпатией и даже пробил для меня номер «люкс».

Навсегда запомнились мне поездки в Ровно и Житомир, своего рода антисемитские заповедники. Это было уже после Парижского конкурса. Помню, я сыграла концерт в Житомире и переезжала в Ровно. В Советском Союзе был жесткий порядок: купе на четыре человека и соседи, которых не выбираешь. Один сосед спросил, как меня зовут, я назвалась Машей и попросила, чтобы, когда будут разносить еду, меня разбудили – аппетит у меня всегда был отменный. Когда стали разносить борщ, я проснулась от диких криков в коридоре. Оказывается, какой-то мужчина, как выяснилось позже, ректор Ровенского водного института, напился и орал:

– Жиды! Жиды!



Заслуженный артист России
Михаил Пархомовский, Леонид Финкель
и пианистка Рита Бобрович

«Если в доме нет воды, значит, выпили жида», как поется в популярной песне. Я вся напряглась, как сторожевой пес, или, лучше сказать, как тигр, ибо я тигр по гороскопу. То есть молчу, сдерживаюсь, но к прыжку готова. Крикун не унимался, и я не выдержала. Вышла в тамбур и дала ему по морде да так, что эхо прошло по вагону. Самое страшное, что со мной в вагоне ехало довольно много евреев. Они приоткрывали двери купе, выглядывали в щели, затаив дыхание, прислушивались. Но никто не осадил этого хама! А я вот съездила ему по морде. Он ошалел, набросился на меня и чуть не убил, его оттаскивал весь вагон.

А в Кисловодске как-то мы с Димой в автобус, который следовал в Грозный – Дима должен был играть там с оркестром. Мы, естественно, поехали вместе. В салон вошли с передней площадки, поскольку Дима был еще ребенок да еще с виолончелью. Народ возмутился:

– Что вы лезете, как евреи!

– А я и есть еврейка! – ответила я им.

И автобус враждебно умолк. Нам никто не подсказал, где нужно выходить, мы проехали свою остановку.

Раз я выступала в Алма-Ате с замечательным дирижером и человеком Аликом Островским. Он мне признался, что хотел бы перебраться из Алма-Аты в другой город.

И когда я была в Министерстве культуры по какому-то другому поводу, я заметила, что в Алма-Ате есть такой хороший дирижер, Островский, и он хочет переехать. Может, где-то нужен хороший дирижер? Мне ответили, что во всех городах России и без того дирижерами одни Кацы, Заки и Гузмань. Ну сколько можно?

Запомнился фестиваль РСФСР на Украине. Никогда не забуду, как во Львове Эмиль Гилельс играл Третий концерт Рахманинова. Я никогда не слышала у него такого феноменального, теплого звука, это было едва ли не лучшее из его выступлений.

Там, во Львове, когда я собиралась пойти на выступление Гилельса, местные «шишки» наперебой приглашали меня на какие-то банкеты, светские мероприятия... Я вежливо отказывалась, говоря, что мне очень хотелось бы пойти послушать Гилельса. В ответ я услышала:

– Ну, зачем тебе нужен этот рыжий еврей?

Естественно, я тут же всем громогласно объявила, что я сама еврейка.

В рамках того же фестиваля у меня был концерт в Киеве. Выхожу на сцену и слышу, как люди говорят, буквально в голос:

– Жиды, жиды кругом... Наконец-то наша Оксана, украинка, играет!

Я чуть не задохнулась от возмущения и, конечно, тут же публично объявила, что я – еврейка. После этого Гилельс, которому я все рассказала, сказал:

– А вы не могли объявить о том, что вы еврейка, на пять минут позже?

Я же отвечала:

– Не могла, потому что антисемитам нужно бить морду прямо на месте!

Интересно, что моя анти-антисемитская позиция постепенно стала широко известной. Однажды в Свердловске я зашла в магазин пластинок, и директор магазина мне сказала:

– Боже мой, вы такая знаменитость! Мне известно, сколько пощечин вы надавали антисемитам!

Нечего и говорить, что из этого магазина я ушла с редчайшими пластинками и в отличном настроении.

Махмуд ЭСАМБАЕВ

МОЯ ЕВРЕЙСКАЯ МАМА



Народный артист СССР Махмуд Эсамбаев
и пианистка Оксана Яблонская

Гениальный танцовщик, Махмуд Эсамбаев обладал уникальной пластикой, способной выразить тончайшие нюансы характера, переживаний музыкальных и человеческих.

Мальчик из предгорного чеченского селения, он уже в семь лет танцевал, можно сказать, профессионально, на свадьбах, куда приводила его понявшая необыкновенное дарование ребенка мама. Эту еврейскую женщину, вторую жену отца, одесситку Софью Михайловну, называвшую Махмуда Мойшей, он никогда не считал мачехой. Последующие девять браков отца не поколебали сыновней привязанности чеченского Мойши к этой по-настоящему любившей его кормилице и воспитательнице.

Огранку его талант получил в хореографическом училище в Грозном. Рассказывали, что звездное будущее предсказала юному солисту приехавшая на гастроли в Грозный

Любовь Орлова. Спустя два десятилетия Галина Уланова скажет, что такие таланты, каким наделен Махмуд Эсамбаев, случаются один раз в тысячелетие.

Из училища его направили во фронтовую концертную бригаду на передовую поднимать перед атакой дух бойцов. Получил ранение в ногу, но не сдался, научился танцевать заново.

Как удар ножом в спину воспринял Эсамбаев, потерявший на войне двух братьев, послевоенную сталинскую депортацию чеченцев и ингушей. Она застала его в Пятигорске. На предложение спокойно остаться, отсидеться он, потерявший на войне двух братьев, ответил отказом и присоединился к своему страдающему народу. Пятнадцать с половиной суток ехал в эшелоне, откуда на редких остановках трупы выкладывали на землю штабелями.

Высоцкий подарил Эсамбаеву песню. Махмуд слушал ее на своем кассетном магнитофоне и плакал.

*...Нас закаляли в климате морозном.
Нет никому ни в чем отказа там.
Так что чечены, жившие при Грозном,
«Намылились» с Кавказа в Казахстан.
А там – Сибирь – лафа для брадобреев:
Скопление народов и нестриженных бичей,
Где место есть для зеков, для евреев
И недоистребленных басмачей...*

В конце концов Эсамбаев оказался в Киргизии, оттуда начался его звездный прыжок с классической сцены на эстрадную, принесшую ему всемирное признание как бесподобному исполнителю народных танцев, к феерическим зарубежным гастролям, многочисленным отечественным наградам и званию Народного артиста СССР – официально, а неофициально – бога танца.

Богом танца и божественно наивным, простодушным человеком он и остался в памяти тех, кто видел его на сцене, смотрел и читал записи его интервью, кто прикоснулся к нему сердцем, читая рассказ, который мы публикуем ниже.

Мой отец – чеченец и мама – чеченка. Отец прожил 106 лет и женился 11 раз.

Вторым браком он женился на еврейке, одесситке Софье Михайловне. Её и только её я всегда называю мамой. Она звала меня Мойше.

Мойше, – говорила она, – я в ссылку поехала только из-за тебя. Мне тебя жалко.

Это когда всех чеченцев переселили В Среднюю Азию. Мы жили во Фрунзе. Я проводил все дни с мальчишками во дворе.

– Мойше! – кричала она. – Иди сюда.

– Что, мама?

– Иди сюда, я тебе скажу, почему ты такой худой. Потому что ты никогда не видишь дно тарелки. Иди скушай суп до конца. И потом пойдёшь.

– Хорошая смесь у Мойши, – говорили во дворе, – мама – жидовка, отец – гитлеровец.

Ссылных чеченцев там считали фашистами. Мама сама не ела, а все отдавала мне. Она ходила в гости к своим знакомым одесситам, Фире Марковне, Майе Исааковне – они жили побогаче, чем мы, – и приносила мне кусочек струделя или еще что-нибудь.

– Мойше, это тебе.

– Мама, а ты ела?

– Я не хочу.

Я стал вести на мясокомбинате кружок, учил танцевать балльные и западные танцы. За это я получал мешок лошадиных костей. Мама сдирала с них кусочки мяса и делала котлеты напололам с хлебом, а кости шли на бульон. Ночью я выбрасывал кости подальше от дома, чтобы не знали, что это наши. Она умела из ничего приготовить вкусный обед. Когда я стал много зарабатывать, она готовила куриные шейки, цимес, она приготавливала селёдку так, что можно было сойти с ума. Мои друзья по Киргизскому театру оперы и балета до сих пор вспоминают: «Миша! Как ваша мама кормила нас всех!»

Но сначала мы жили очень бедно. Мама говорила: «Завтра мы идём на свадьбу к Меломедам. Там мы покушаем гефилте фиш, гусиные шкварки. У нас дома этого нет. Только не стесняйся, кушай побольше».

Я уже хорошо танцевал и пел «Варнечекес». Это была любимая песня мамы. Она слушала ее, как Гимн Советского Союза. И Тамару Ханум любила за то, что та пела «Варнечекес».

Мама говорила: «На свадьбе тебя попросят станцевать. Станцуй, потом отдохни, потом спой. Когда будешь петь, не верти шеей. Ты не жираф. Не смотри на всех. Стань против меня и пой для своей мамочки, остальные будут слушать».

Я видел на свадьбе ребе, жениха и невесту под хупой. Потом все садились за стол. Играла музыка и начинались танцы-шманцы. Мамочка говорила: «Сейчас Мойше будет танцевать». Я танцевал раз пять-шесть. Потом она говорила: «Мойше, а теперь пой». Я становился против неё и начинал: «Ву немт мен, ву немт мен, ву немт мен?..» Мама говорила: «Видите, какой это та-

лант!» А ей говорили: «Спасибо вам, Софья Михайловна, что вы правильно воспитали одного еврейского мальчика. Другие ведь как русские – ничего не знают по-еврейски.

Была моей мачехой и цыганка. Она научила меня гадать, воровать на базаре. Я очень хорошо умел воровать. Она говорила: «Жиденок, иди сюда, петть будем».

Меня приняли в труппу Киргизского театра оперы и балета. Мама посещала все мои спектакли.

Мама спросила меня:

– Мойше, скажи мне: русские – это народ?

– Да, мама.

– А испанцы тоже народ?

– Народ, мама.

– А индусы?

– Да.

– А евреи – не народ?

– Почему, мама, тоже народ.

– А если это народ, то почему ты не танцуешь еврейский танец? В «Евгении Онегине» ты танцуешь русский танец, в «Лакме» – индусский.

– Мама, кто мне покажет еврейский танец?

– Я тебе покажу.

Она была очень грузная, весила, наверно, 150 килограммов.

– Как ты покажешь?

– Руками.

– А ногами?

– Сам придумаешь.

Она напевала и показывала мне «Фрей-лехс», его ещё называют «Семь сорок». В 7.40 отходил поезд из Одессы на Кишинёв. И на вокзале все плясали. Я почитал Шолом-Алейхема и сделал себе танец «А юнгер шнайдер». Костюм был сделан как бы из обрезков материала, которые остаются у портного. Брюки короткие, зад – из другого материала. Я всё это обыграл в танце. Этот танец стал у меня бисовкой. На «бис» я повторил его по три-четыре раза.

Мама говорила: «Деточка, ты думаешь, я хочу, чтоб ты танцевал еврейский танец, потому что я еврейка? Нет. Евреи будут говорить о тебе: вы видели, как он танцует бразильский танец? Или испанский танец?

О еврейском они не скажут. Но любить тебя они будут за еврейский танец».

В белорусских городах в те годы, когда не очень поощрялось еврейское искусство, зрители-евреи спрашивали меня: «Как вам разрешили еврейский танец?». Я отвечал: «Я сам себе разрешил».

У мамы было своё место в театре. Там говорили: «Здесь сидит мишина мама».

Мама спрашивает меня:

– Мойше, ты танцуешь лучше всех, тебе больше всех хлопают, а почему всем носят цветы, а тебе не носят?

– Мама, – говорю, – у нас нет родственников.

– А разве это не народ носит?

– Нет. Родственники.

Потом я прихожу домой. У нас была одна комнатка, железная кровать стояла против двери. Вижу, мама с головой под кроватью и что-то там шурует. Я говорю:

– Мама, вылезай немедленно, я достану, что тебе надо.

– Мойше, – говорит она из под кровати. – Я вижу твои ноги, так вот, сделай так, чтоб я их не видела. Выйди.

Я отошел, но все видел. Она вытянула мешок, из него вынула заштопанный старый валенок, из него – тряпку, в тряпке была пачка денег, перевязанная бичевкой.

– Мама, – говорю, – откуда у нас такие деньги?

– Сыночек, я собрала, чтоб тебе не пришлось бегать и искать, на что похоронить мамочку. Ладно, похоронят и так.

Вечером я танцую в «Раймонде» Абдурахмана. В первом акте я влетаю на сцену в шикарной накидке, в золоте, в чалме. Раймонда играет на лютне. Мы встречаемся глазами. Зачарованно смотрим друг на друга. Идёт занавес. Я фактически ещё не танцевал, только выскочил на сцену. После первого акта администратор подает мне роскошный букет. Цветы передавали администратору и говорили, кому вручить. После второго акта мне опять дают букет. После третьего – тоже. Я уже понял, что все это – мамочка. Спектакль шёл в четырёх актах. Значит, и после четвёрто-

го будут цветы. Я отдал администратору все три букета и попросил в финале подать мне сразу четыре. Он так и сделал. В театре говорили: подумайте, Эсамбаева забросали цветами.

На другой день мамочка убрала увядшие цветы, получилось три букета, потом два, потом один. Потом она снова покупала цветы.

Как-то мама заболела и лежала. А мне дают цветы. Я приношу цветы домой и говорю:

– Мама, зачем ты вставала? Тебе надо лежать.

– Мойше, – говорит она. – Я не вставала. Я не могу встать.

– Откуда же цветы?

– Люди поняли, что ты заслуживаешь цветы. Теперь они тебе носят сами.

Я стал ведущим артистом театра Киргизии, получил там все награды. Я люблю Киргизию, как свою родину. Ко мне там отнеслись, как к родному человеку.

Незадолго до смерти Сталина мама от своей подруги Эсфирь Марковны узнала, что готовится выселение всех евреев. Она пришла домой и говорит мне:

– Ну, Мойше, как чеченцев нас выслали сюда, как евреев нас выселяют ещё дальше. Там уже строят бараки.

– Мама, – говорю, – мы с тобой уже научились ездить. Куда вышлют, туда поедem, главное – нам быть вместе. Я тебя не оставлю.

Когда умер Сталин, она сказала: «Теперь будет лучше». Она хотела, чтобы я женился на еврейке, дочке одессита Пахмана. А я ухаживал за армянкой. Мама говорила: «Скажи, Мойше, она тебя кормит?» (Это было ещё в годы войны).

– Нет, – говорю, – не кормит.

– А вот если бы ты ухаживал за дочкой Пахмана...

– Мама, у неё худые ноги.

– А лицо какое красивое, а волосы... Подумаешь, ноги ему нужны.

Когда я женился на Нине, то не могу сказать, что между ней и мамой возникла дружба.

Я начал преподавать танцы в училище МВД, появились деньги. Я купил маме золотые часики с цепочкой, а Нине купил белые металлические часы. Жена говорит:

– Маме ты купил с золотой цепочкой вместо того, чтоб купить их мне, я молодая, а мама могла бы и простые носить.

– Нина, – говорю, – как тебе не стыдно. Что хорошего мама видела в этой жизни? Пусть хоть порадуется, что у неё есть такие часы.

Они перестали разговаривать, но никогда друг с другом не ругались. Один раз только, когда Нина, подметая пол, вышла с мусором, мама сказала: «Между прочим, Мойше, ты мог бы жениться лучше». Это единственное, что она сказала в её адрес.

У меня родилась дочь. Мама брала её на руки, клала между своих больших грудей, ласкала. Дочь очень любила бабушку. Потом Нина с мамой сами разобрались. И мама мне говорит: «Мойше, я вот смотрю за Ниной, она таки неплохая. И то, что ты не женился на дочке Пахмана, тоже хорошо, она избалованная. Она бы за тобой не смогла все так делать». Они с Ниной стали жить дружно.

Отец за это время уже сменил нескольких жён. Жил он недалеко от нас. Мама говорит: «Мойше, твой отец привёл новую никэйву. Пойди посмотри». Я шёл.

– Мама, – говорю, – она такая страшная!

– Так ему и надо.

Умерла она, когда ей был 91 год. Случилось это так. У неё была сестра Мира. Жила она в Вильнюсе. Приехала к нам во Фрунзе. Стала приглашать маму погостить у неё: «Софа, приезжай. Миша уже семейный человек. Он не пропадёт месяц-другой без тебя». Как я её отговаривал: «Там же другой климат. В твоём возрасте нельзя!» Она говорит: «Мойше, я погощу немного и вернусь». Она поехала и больше уже не приехала.

Она была очень добрым человеком. Мы с ней прожили прекрасную жизнь. Никогда не нуждались в моем отце. Она заменила мне родную мать. Будь они сейчас обе живы, я бы не знал, к кому первой подойти обнять.

Максим ВЕНГЕРОВ

«АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ – ЭТО ЗВУЧИТ МИСТИЧЕСКИ...»



Максима Венгерова, вероятно, представлять не следует. Его имя всё время на слуху. Он сегодня, пожалуй, один из самых выдающихся скрипачей мира. В 2001 году вместе с ансамблем скрипачей «Виртуозы Израиля» под управлением заслуженного артиста РСФСР Михаила Пархомовского они совершили уникальную поездку по Юго-Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, Гонконг), а после в зале Musikverein в Вене, где сам Святос-

лав Рихтер испытывал благоговейный страх, сумели записать диск, который до сих пор не сходит с продаж.

Михаил Израильевич Пархомовский, руководитель ансамблей скрипачей Москвы, Сибири, а затем Израиля, сумел найти в непростом музыкальном мире свой путь, о чем он написал в книге «По обе стороны игры» (предисловие – композитора Тихона Хренникова). Один из фрагментов этой книги мы сегодня представляем читателю.



Михаил Пархомовский с внучкой

Мне было всего шесть лет, когда я впервые услышал чудо – ансамбль скрипачей Михаила Пархомовского. Он часто приезжал в Новосибирск, где я учился в музыкальной школе. До сих пор помню, какое потрясающее впечатление произвёл он на меня. Я был ошеломлён красотой его звука, я его просто обожал. Каждый музыкант был здесь истинным солистом.

Поразила меня и энергия Михаила Израилевича... Он не ходил, он просто летал. Помню, как он пришёл в класс моего учителя Захара Брона, чтобы послушать мою игру. И я гордился тем, что меня слушает Сам маэстро Пархомовский. Всю жизнь я слежу за небывалым успехом этой фантастической группы, исполнение которой столь проникновенно, захватывающе и глубоко.

Кстати, с самой идеей ансамбля скрипачей связана любопытная легенда времён Сталина. Когда-то «вождь народов» отправился на концерт в Большой театр. Одним из номеров программы было исполнение квартета. Сталина страшно возмутил тот факт, что такую большую сцену занимают четыре музыканта. «Их должно быть минимум десять!» – воскликнул он и возмущённо добавил: – «И почему они все сидят?!». «Но виолончелист не может играть стоя», – робко заметил кто-то из сопровождавших. Тогда пусть играют только скрипачи!» – приказал тонкий ценитель музыки...

Рождение ансамбля скрипачей в Израиле – уникальное событие. Скрипка – еврейский инструмент, и я горжусь тем, что коллектив такого уровня родился именно на этой земле. Услышав последний компакт-диск ансамбля – «Классические танцы», я был поражён энергией и силой его музыки. Это настоящий хор скрипок с удивительными красками. Я будто вспомнил детство, свои впечатления от того первого концерта и решил взять ансамбль на гастролы по всему миру и записать диск вместе с ними. Так, спустя 20 лет, исполнилось одно из моих самых заветных желаний – играть с этим коллективом.

Проект с ансамблем Михаила Пархомовского очень интересный. Представьте: скрипки solo в сопровождении десяти скрипок. Казалось бы, куда привычнее камерный состав, с альтином и виолончелью... Но я всегда мечтал играть только со скрипачами, хотя само понятие – ансамбль скрипачей звучит загадочно, мистически...

Данный проект – самый большой из тех, в которых я участвовал. Я играл с разными оркестрами очень много серий концертов, но 35 с одним коллективом – такое впервые. Кроме того, и репертуар уникальный – шедевры-миниатюры музыкальной классики XIX–XX веков. Михаил Пархомовский – музыкант колоссальных возможностей и, кроме того, потрясающий аранжировщик. Подобные обработки сделать необычайно сложно. Но Пархомовскому это необыкновенно удаётся. Он совершил невероятное: сочинил уникальный авторизированный вариант всех шестнадцати пьес, которые включены в нашу программу. А его аранжировкой «Вокализа» Рахманинова я восхищён и потрясён. Он просто гений! Буквально купаешься в красках этой музыки. Я чувствую, что если бы Рахманинов это услышал, он бы решил, что изначально написал эту пьесу именно для ансамбля скрипачей. Талант Пархомовского уникален. Он дарит людям самое ценное – счастье, любовь, радость. За что бы он ни брался – всё в его руках превращается в золото.

Публицистика

София ШЕГЕЛЬ

ВЯЗЬ ВРЕМЕН

Гриша позвонил в пятницу после работы:

– Вечером не засиживайтесь допоздна: утром вставать не позже шести, едем смотреть Израиль.

Какой там засиживаться! После рабочей недели в глазах темно, телевизор – вот он, новенький, блестящий, да и все равно ни слова не понимаем на иврите, смотрим на экран, как бараны на новые ворота. Так что почти и не включаем даже, стоит себе, как мебель, наподобие обязательного хрусталя в совковом интерьере. Но смотреть Израиль – это кто ж откажется! Сейчас сделаю бутерброды, поставлю в холодильник бутылку содовой и – спать. Почитать бы хоть полчаса, да буквы перед глазами прыгают, как блохи на бродячей собаке: полный рабочий день читала завтрашнюю газету, работа у меня теперь такая.

В 6.30 звонок в дверь. Наш Гриша, стойкий оловянный, с пакетом сосисок в руках и широкой улыбкой на лице – само нетерпение.

– Ну, готовы?

– Минутка, только воду взять и бутерброды.

– Это как раз зря, все уже в машине, оставьте на ужин свои заготовки. И вот сосиски положи в холодильник.

Четвертый месяц пошел, как мы уже израильтяне, хоть бы раз он пришел с пустыми руками, нет, каждый день успевает

перед работой заскочить, что-нибудь подвезти – из еды, из кухонной утвари, губную помаду, сигареты, полотенца. А ведь мы живем в разных городах!

– Гришенька, мы уже работаем, зарплату получаем, остановись.

А он улыбается почему-то виноватой улыбкой:

– У меня пока зарплата больше, потом разбираться будем. А теперь – в путь.

И мы пускаемся в очередное олимовское путешествие – смотреть Израиль. На этот раз по приморскому шоссе, вдоль берега, на север, в сторону рыбных хозяйств на искусственных водоемах. Где-то заезжаем в мошав за клубникой. По пути мне объясняют, что мошав – это деревня.

– Но если ты ожидаешь увидеть что-то наподобие литовской деревни, то зря. Ничего общего. Только конечный продукт – дары земли, и то не такие, как там. Остальное все иначе. В мошавах люди, как правило, более состоятельные, чем в городах.

В этой же поездке убеждаюсь – так и есть.

Как давно все это было, треть столетия назад. На тогдашних фотографиях осталась дата – 14 апреля. Это сейчас мы привыкли, по старой шутке, что первая клубника появляется в 6 утра. А 30 лет назад нам после литовской, пусть мягкой, но все же зимы это казалось чудом. Купили три коробки клубники, четвертую получили

как бонус, в «совке» такого слыхом не слышали.

– А дальше куда?

– Я же сказал – смотреть Израиль. Есть такое место, специально чтобы смотреть, так и называется – смотровая площадка, там обзор отличный и вообще, – таинственно бормочет наш замечательный предводитель.

Едем еще минут двадцать вдоль берега, дорога повторяет все извивы кромки воды – и вот перед нами небольшое плато, можно сказать, ровный пятачок, при ближайшем рассмотрении понимаем, что рукотворный, потому что заасфальтирован и оснащен всеми оптическими приспособлениями для ненасытного ока туриста.

Как всегда по выходным, здесь людно. Туристы, как им и полагается по статусу, шумно реагируют на увиденное, услышанное, мимо идущее и рядом стоящее, гиды получают возможность если не вздремнуть, то хоть помолчать четверть часа – что рассказывать про море или про песок? А про «Альталену» их подопечные уже знают. Да какое нам дело до чужих людей, мы здесь радуемся встрече, немолодые уже бывшие одноклассники, друзья и даже в какой-то мере родственники, не виделись десятки лет, одни уже давно израильтяне, другие – то есть, мы – свеженькие олим хадашим.

– И долго нам жить под этим названием? Или это теперь пожизненная метка, нечто вроде пятой графы в советской анкете?

– О, да ты делаешь успехи! Главное – хотеть. Захочешь стать израильтянкой – станешь. А кто предпочитает гордо называться оле хадаш – тот навсегда и останется в этом подвешенном состоянии, под сострадательными взглядами друзей и пренебрежительными – тех, кто сам этого не пережил. – Друг наш Миня, с молодых лет за раскосые глаза известный в своей компании под прозвищем Чан Кайши, емко обрисовал мне перспективу социального развития одного отдельно взятого индивида.

– Хорошо, когда все знаешь. Тогда объясни мне в доступной форме, как это свое

хотение реализовать, а то ведь хотеть не вредно, но все же недостаточно.

– Пока для начала язык учи, – оседлал он тут же своего любимого конька, любит человек наставлять ближних, такое у него, можно сказать, хобби.

Но в этот момент о чем-то своем шумно и все разом заговорили туристы, вон они на другом краю площадки, своей группой. Монотонное восхищенное гудение не позволяет различить какой-то конкретный голос, завораживает, как полет шмеля, где есть мелодия, но нет смысла. И все же один голос выдается в какой-то момент из общего гула. Не потому, что слишком высокий, даже с нотками визгливости, не потому, что явно принадлежит очень уже немолодой женщине. А просто слышу литовскую речь, и она, как магнитом, притягивает мое внимание. Потому что четвертый месяц олимовского существования – это настойчивое ощущение собственной немоты, глухоты и потому умственной неполноценности, но кому об этом расскажешь? Вскоре я уже рядом с говорящей. Это невысокая рыжеволосая старушка, ее литовский сильно отдает американским английским, манеры тоже. Достаточно моего робкого «лаба диена» ("добрый день") – и я уже оказываюсь в объятиях новой знакомой...

С той встречи прошло добрых тридцать лет, я теперь на-а-много старше, чем была тогда эта женщина, и потому вынуждена признаться, что встречу помню, а имя туристки намертво забыла. Бывает, с годами все чаще. Но как-то же мне надо ее называть, правда? Остановимся на поне Бромене, тем более, что на варианте поне, а не миссис или гверет, что мне тогда казалось более естественным, старая дама настаивала – видимо, такая модификация ностальгии. Вот, значит, в первые же минуты поне Бромене нашебетала мне, что прошло уже почти тридцать лет, как она покинула родную Литву, и я не усмотрела в этом никакого совпадения, потому что мой стаж тогда мерился скорее на недели. Но теперь-то я знаю, что это было первое совпадение.

– Вот видите, столько лет прожила за океаном и теперь впервые осуществилась моя мечта, я приехала посмотреть на свою историческую родину. Я опоздала, мое время ушло. Теперь я умею только посмотреть. Старость, знаете ли.

Я не знала. Теперь знаю, хотя лучше не знать.

– А тогда, – оживилась моя собеседница, – тогда я еще могла так много! Родина была бы довольна. Но муж сказал – только Америка. У него там были родственники. Одно название. А бедный понас Бромас верил, что в свободном мире он горы свернет. Горы на месте, а понас Бромас смотрит на нас с небес и вряд ли улыбается. Зато я теперь вижу родину предков. И понимаю, наконец, почему среди евреев так много ярких талантов, великих ученых, просто очень умных и добрых людей. Родина у нас такая – яркая, разная, полярная. Поэтому и на другом краю тоже все так выпукло, ярко, заметно. На одном полюсе Эйнштейн – на другом Сорос. И оба из нашего гнезда. Впрочем, может, я не самые удачные примеры выбрала? – перебила сама себя поне Бромене.

– Нет, я вас поняла, все верно. Люди бывают разные, даже среди евреев. Я вам больше скажу, я только здесь, в Израиле, выяснила для себя, что и евреи бывают разных национальностей – польские, литовские, российские, даже американские. Не думаю, что это существенно, но это факт, с которым не поспоришь.

Моя собеседница все же литовская американка или американская литовка, она, пожалуй, и сама не знает, чего в ней больше. А потому резко меняет тему разговора:

– А где Вы в Вильнюсе жили? Адрес?

Называю свой последний адрес – улица Комъяунимо (Пилимо), дом 21. Поне Бромене вдруг застывает так резко, что я пугаюсь. После очень долгой паузы она произносит ровным, без интонаций и даже без американского акцента голосом:

– Так не бывает... А номер квартиры какой?

– Квартира 20.

Старушка резко поворачивается ко мне, протягивает руки – и вот уже она на моем плече и заходится слезами:

– Так не бывает! Я уезжала из этого дома! Нет, я уезжала из этой квартиры! А там во дворе все еще есть пивной ларек? А любители пива по-прежнему забегают по вечерам в подворотню по своим надобностям? – Судя по ее умиленным интонациям, она, видимо, забыла, что в подворотне рядом с пивным ларьком благоухает отнюдь не фиалками. Тогда мне было смешно, а теперь я ее, пожалуй, понимаю: ностальгия по себе самой, по невозвратному. Справедливости ради уместно сообщить, что пивного ларька там давно нет, подворотня запирается и вполне цивилизованно пахнет бензином, пылью и жареной картошкой. Но это между прочим.

– Знаете, – продолжает моя знакомая, – я много лет прожила в этой квартире. Она была здоровая, сухая, ведь дом деревянный! И солнечная, я хорошо помню. – Она на минутку замолкает, прикрывает глаза, по лицу видно, что вспоминает – ту квартиру, ту жизнь, ту себя.

– А в какой школе ты училась? – Видимо, очередное совпадение сближает нас, уже можно переходить на «ты», все же она больше американка, хоть и поне.

– Школа моя стояла у железнодорожного вокзала...

– Ты знаешь, я тоже училась недалеко от железнодорожного вокзала, – оживает моя американская литовка, – на улице Шопена.

Моя очередь судорожно дышать и бормотать «так не бывает!» На той улице была только одна школа. Это моя школа!

Мы потом еще долго обнимались с поне Бромене, искали другие совпадения, не нашли ничего, кроме транспортных маршрутов и мясника в лавке около рынка «Гале», который лучшие куски мяса находил для тех, кто обращался к нему на идиш. Но все два часа нашей щебетни – пока мои спутники обедали, лакомились клубникой, смотрели в бинокль на гору Кармель – все это время мы с поне Бромене – я так и не

узнала ее девичью фамилию, а узнала бы, все равно бы забыла, как забыла настоящую – все это время, пока не разбежались каждая в свою сторону, мы вспоминали нашу школу, хотя учились в разное время и воспоминания у нас были совсем разные.

Она была школьницей еще в сметоновское время, в частной еврейской гимназии.

Я – уже при Советах, в средней общеобразовательной школе Управления Балтийской железной дороги.

Общим было только наше отношение. Да и то больше к самим себе, тем девчонкам школьного возраста, которые во все времена похожи друг на друга и начинают по-настоящему любить и ценить свою школу спустя десятки лет после выпускного бала.

Но объективно это была очень хорошая школа. Не только потому, что стояла на улице Шопена. Тем более, этого конкретного Шопена вообще звали Иероним, он был каким-то среднего уровня предпринимателем, просто на его деньги строилась большая часть этой зачуханной привокзальной улицы, да и было это чуть ли не полтора-два десятилетия назад. Говорят, с приходом Советов даже пытались улицу переименовать в честь тогдашнего наркома (министра) путей сообщения Лазаря Кагановича, но потом какой-то предприимчивый чиновник нашел более удачное решение: на табличках с указанием улицы имя замазали белой краской, стала просто улица Шопена. Намного дешевле, чем переименование, никаких предпринимателей и, более того, никаких кагановичей – чем плохо? Стоит, однако, повториться: школа была хорошей не только по топонимическому показателю.

Ко времени моей учебы система просвещения в стране вдруг спохватилась: человечество накопило такой невероятный объем фундаментальных знаний, что за десять школьных лет вложить их в головы школьников невозможно. Не везде процесс удлинения детства шел гладко, многие как могли сопротивлялись. Как раз в нашем случае все прошло легко и просто: новые власти еще не успели даже переименовать

гимназии в школы (обратный процесс в недавнее время прошел «на ура», заодно каждое задрипанное ПТУ стало колледжем), везде в республике обучение все еще длилось по досоветской системе 11 лет. А на улице Шопена – 10. Школа была новая, ведомственная, в ней теоретически должны были учиться дети железнодорожников, в младших классах так и было. А на последние три года обучения добавлялись один-два параллельных класса, учеников принимали по конкурсу – с учетом успеваемости в прошлом и социального статуса семьи, и тут наличие папы-стрелочника и мамы-проводницы уже никого не интересовало. В результате народ подбирался умный и яркий, из тех, кому не хотелось «лишний год» задачки решать. Нет, троечники, конечно, тоже случались, чаще это были старожилы школы, из детей железнодорожников.

Я в свою школу ездила на троллейбусе через весь город, минут сорок в один конец, а до того училась в гимназии, прямо через дорогу от дома. Каждое утро два старика входят в троллейбус через одну остановку после меня и выходят у красивого белого здания классической архитектуры – Института литовской литературы академии наук Литвы. Академики, наверное. Во всяком случае, из бывших. Входят – и сразу начинают искать глазами меня. Находят – радуются. С удовольствием оценивают. Вполне себе интеллигентно, не скабрёзно, на хорошем литературном литовском языке. Но как будто меня нет или я памятник.

– Посмотри, какая девочка, – начинает один, – настоящая литовская красавица – длинные темные косы, голубые глаза! Только у нас встретишь такое сочетание!

– Да, да, – подхватывает другой, – у нас в Дзукии этот тип очень распространен, народная красота, национальный тип, подлинная летуйте (что-то типа дочь литовского народа).

И это повторяется всякий раз, как мы оказываемся попутчиками. Похоже, эти старики меня поддразнивают, хотя и необидно, скорее, искренне. А я в свои пят-

надцать лет краснею и не понимаю, радоваться или обижаться. С одной стороны, вроде хорошо, красавицей называют, хотя все знают, что я – «гадкий утенок» и вырасти могу только в гадкую гусыню, никак не в лебедя. С другой – знали бы эти академики, какого я народа настоящая дочь, небось бы так не хвалили.

В классе нас, еврейских детей, было в процентном отношении значительно больше, чем в целом по стране. И вот теперь здесь, в Израиле, нас семеро оттуда, с улицы Шопена, мы сохранили настоящую дружбу, самое святое из всех человеческих проявлений. Мы искренне любим друг друга, интересуемся жизнью друг друга и мы бескорыстны в этих своих чувствах.

Мы теперь встречаемся нечасто: все живем в разных городах, паспорта берут свое, ездить все труднее. Но перезваниваемся, хотя бы по праздникам, знаем все друг о друге. А тогда, прежде – тридцать, двадцать, даже десять лет назад – да, встречались, застолья устраивали, вечера воспоминаний.

– А кто помнит маленькую кондитерскую на улице Качалова, напротив оперного театра?

– Конечно, там еще хозяйка была такая аккуратненькая полька в кружевной наkolке, пани Уршуля...

– Ну да, это ведь там продавались обрезки пирожных на вес?

– Точно, в студенческие годы мы туда каждый месяц после стипендии бегали, а оттуда сразу в Оперный. Однажды на «Пиковой даме» декорация упала на Лизу, так я от неожиданности этим обрезком орехового пирожного поперхнулась, пришлось со спектакля уйти – кашель.

В другой раз:

– А кто помнит Исидора Владимировича?

Ну конечно, все мы его помним, это был наш учитель черчения. Улыбчивый, лысый, вечно с рейсшиной наперевес, а рейсшина с него ростом, жене своей едва до плеча доставал, она у нас завучем была. Сказать, что я по черчению была ноль

– это ничего не сказать. Мне циркулем окружность провести – непосильная задача. Но Исидора Владимировича я глубоко уважала тогда, и это чувство к нему осталось у меня по сей день. Потому что когда у нашего одноклассника маму арестовали по делу врачей, все делали вид, что ничего не знают, и только наш скромный чертежник по секрету даже от собственной жены подкармливал его и его младшую сестренку все полгода, пока длился этот кошмар.

– А кто помнит, как звали нашего физика в десятом классе?

И тут выясняется, что мы все забыли его имя. Потому что этот замечательный учитель (сегодня, кстати сказать, уже давно профессор Еврейского университета, а тогда начинающий специалист) смешно коверкал слова, например, слово «схема» произносил через э обратное – «схэма», под этой кличкой все мы его помним. А потом, когда уже мы были студентами, он ухаживал за одной нашей одноклассницей, их видели вместе в театре. Но из этого романа ничего не вышло. Он оказался – страшно подумать! – сионистом и при первой же возможности уехал в Израиль, а наша подружка так всю жизнь и прожила в одной квартире, туда и мужа привела и сына там растила. Бог весть, жива ли.

Теперь-то я понимаю, что все мы были сионистами, только до поры до времени не осознавали этого. Потому что разве нормальные дети, не сионисты, могли в день похорон Сталина, оставшись в школе без присмотра учителей, устроить «потешное отпевание» с помощью все той же рейсшины вместо креста, с использованием цветочных вазонов, снятых с тумбы под портретом усопшего вождя. Привязав самого малорослого из нас к учительскому столу ремнями, носили его по кругу, а самый из нас басовитый голосил что-то заунывно-смешливое. И мы никак не могли проникнуться серьезностью момента.

А потом вскоре наступила взрослая жизнь, и мы разлетелись по разным городам, разным профессиям, чтобы потом, спустя несколько десятков лет, когда пора

бы уже забыть многое из детства, мы все семеро снова встретились, чтобы вспомнить, хотя у всех нас за плечами совсем разные жизни. И разные истории.

И однажды мне пришло в голову, что если мы все, те, кто с улицы Шопена, пороемся в памяти и вспомним какую-нибудь яркую, определяющую реальную историю, которая, если не изменила нашу судьбу, то хотя бы придала ей иной колорит, то может получиться интересное сплетение судеб.

Начну с себя. Это была наша первая война в Израиле. 1990 год. Завывание сирен напоминает... о детстве. Нет, не об улице Шопена, о раннем детстве, у меня с этого жизнь начиналась. Нахман Шай, он тогда еще не был генералом, напоминает по радио, что надо запереться в комнате-убежище и положить на порог мокрую тряпку. Мы, как мартышки, выполняем все указания – если, конечно, мы не на работе. Но мы на работе чаще, чем дома.

Вечер, возвращаюсь со смены. Ушла метров двести от редакции, еще метров триста до остановки автобуса – и тут завывает подруга-сирена. На улице ни души, только киоск открыт, там мальчик-продавец, из марокканских юных красавцев. Сигареты, кола, батончики. Сирена. Делаю все, как велит Нахман Шай: открываю коробку с противогазом, пытаюсь натянуть его на голову. Не лезет. Отхожу несколько метров в сторону, там скамейка. Ставлю коробку, чтобы освободить руки, но тут мальчик-киоскер, бросив свою торговлю без присмотра, подбегает ко мне и взволнованно, привлекая на помощь руки, ноги, глаза, объясняет, что нельзя стоять возле

большого дома, опасно, если попадет бомба, может убить, лучше остановиться возле киоска, там безопаснее. Пока мы разговариваем (я ограничиваюсь многократным «тода раба», остальное из головы вылетело на тот момент), парень на ходу натягивает на меня противогаз и только тогда возвращается к своему прилавку. Тут сирена дает отбой, я стаскиваю с себя это резиновое уродство, прячу обратно в коробку. И тут замечаю, что нет моей перчатки – отличной, лайковой, вишневого цвета перчатки – еще из прошлой жизни, когда вещи много значили, да еще она была в цвет пальто. Прохожу наново весь путь – к скамейке и обратно – нет. Мальчик остается за прилавком, но всячески изображает мне сочувствие. Жаль, конечно, но что поделаешь, тем более, я-то жива.

Бреду по пустой пыльной улице и тупо размышляю о том, что куда бы ни забросила нас судьба, корнями мы все равно с улицы Шопена. Вот интересно знать, поне Бромене там у себя, в Америке сохранила это чувство?

Дома, ночью, когда понадобился противогаз при следующей тревоге, перчатка нашлась: я ее просто в коробку сунула. А мальчик наутро спросил, нашла ли я свое кольцо: он-то не знал, что именно я потеряла.

Наверное, вы удивитесь, но эта нехитрая история многому меня научила. Неважно, что я поняла меру и смысл утраты и находки. Неважно, что я узнала, где останавливаться при обстреле. Неважно, что мальчик научил меня пользоваться противогазом.

Я поняла, что значит быть израильянином – вот что важно! И я очень стараюсь.

От великого до смешного

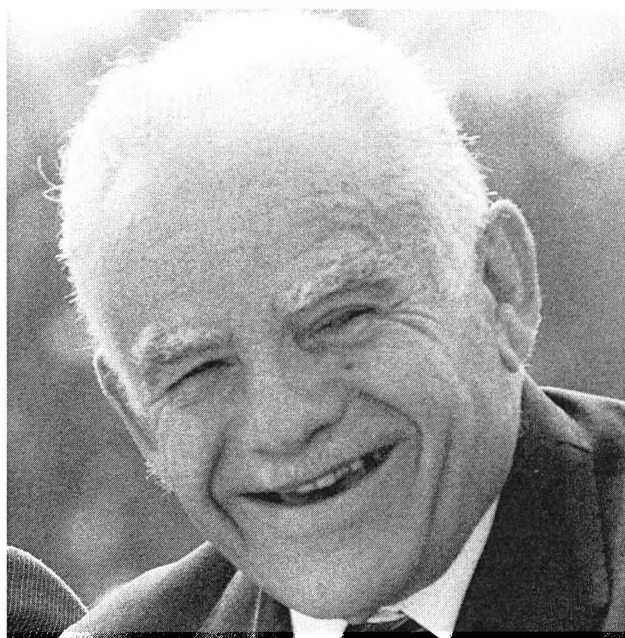
Аркадий Крумер

ВСТРЕЧА С ШАМИРОМ

Мы, когда жили на одной шестой суши, вождей только по ящику видели или, что было особенно приятно во время торжественных панихид или в Мавзолее, правда, очередь туда в те странные временны была больше, чем за байковыми панталонами накануне крещенских морозов.

А тут, не успели мы в Израиль приехать, не успели еще на экскурсию в синагогу сходить, а нас уже на встречу с Шамиром везут, с премьер-министром. И все это у Стены плача затеяли. Людей там собралось тысяч десять, и все ждут. Мы головами крутим, в Иерусалиме первый раз, как вести себя, толком не знаем. Можно ли у Стены плача смеяться? Или обязаны только слезы лить? Это сейчас вопрос глупым кажется, а тогда мы еще слово «шабат» от слова «шалом» толком отличить не могли, а про мезузу вообще думали, что это любимая девушка, раз ее на каждом шагу целовать надо. А обряд обрезания единодушно осуждали, потому что не сомневались, что если как еврей ты от обрезания выиграешь, то как мужчина точно проиграешь!

И вот сидим мы и ждем первое лицо государства. А народ из местных наши советские песни на их языке распевает, и даже не сомневаются, что это их песни. И Шамир не заставил себя долго ждать – уже буквально часа через полтора, слышим – народ загалдел, охрана засуетилась, машина черная подъехала, и из нее Шамир вышел, премьер-министр! И сразу к микрофону, чтоб время не транжирить, ведь человек государственный, каждая секунда дорога!



Ицхак Шамир

И вот, он в легкие набрал побольше воздуха и как закричал от радости: «Братья и сестры!..». Но не тут-то было! Микрофон на этих исторических словах, извините за некошерное сравнение, хрюкнул два раза и замолк, будто набрал в рот воды. Шамир даже дул в него раза три, пальцами барабанил, но микрофону это было, извините, по барабану. А Шамир оглядываться начал куда-то назад, даже знаки рукой подавал, на помощь, видно, кого-то звал. И помощь не заставила себя долго ждать. Буквально и стемнеть еще не успело, как оттуда, куда Шамир махал, человек появился. Техник, как потом выяснилось. Нам показалось, что он был в семейных трусах. Это потом мы узнали, что тут их называют шортами.

Лицо у него кислое было, как после вынужденного исполнения супружеского долга. На ногах сандалеты болтались. Они с ноги сваливались, потому как застегнуты вообще не были. И техник, когда они сваливались, их ногой подтаскивал и снова надевал, причем не спеша, даже еще в носу поковырять успевал. А майка на нем, кстати, потрясающая была, размеров примерно на пять больше, чем надо, наверное, на вырост покупал. Причем она не то, что неглаженной была, она была специально пожевана, потому что случайно так помять ее было невозможно! Походка у техника была, будто он в Сочи по пляжу шел, хотя где были Сочи и где был техник! В руке он отвертку нес. Это в левой. А в правой у него пита была с фалафелем. И он по дороге вгрызался в питу, как ковш шагающего экскаватора в горную породу во время социалистического соревнования!

И тут этот техник увидел вдруг премьер-министра. Господи, как он обрадовался! Он его сразу обнял, он его похлопал по плечу, дескать, молодец, хорошо выглядишь. Потом поинтересовался: «Ма нишма?». Потом техник вдруг увидел микрофон. И, судя по его реакции, это чудо техники предстало его взору впервые. Он его со всех сторон обошел, постоял чуток, кумекая, что да как, потом саданул в микрофон отверткой, точно в зубы крокодилу! Из микрофона искры сильно посыпались. Охрана тут же проснулась. Телохранители бросились своим телом Шамира прикрывать, а один на авансцену рухнул и позицию для стрельбы занял. А техник совсем не испугался, сказал только: «Ие беседер», то есть спокойно, товарищи, все под контролем! И пошел туда, откуда пришел, а микрофон за собой, как дохлую крысу потащил. А Шамир терпеливо стоял и ждал, когда этот «беседер» наступит. А техник долго не возвращался. Может, по дороге с кем поговорить остановился? Или фалафель решил кофеем запить, всухомятку его жевать тоже не годится. В общем, он минут через пять вернулся, не раньше. С новым микрофоном, а еды уже в руках не было. Молодец, все же, успел дожевать, чтобы при премьер-министре сильно не чавкать. Ну,

как человек культурный, он опять Шамиру «шалом» сказал и снова про семью спросил. Шамир ему добросовестно отвечал. А что поделаешь, с народом вежливо говорить надо, каждый голос на выборах важен. Потом техник новый микрофон установил, правда, перед этим раза три снова сандаля у него с ноги падал. Левый в основном. Возможно, он намного больше правого был.

И вот. Шамир опять воздух в легкие набрал и опять говорит: «Братья и сестры»! И в это время, вы не поверите, потому что поверить в это невозможно, второй микрофон вслед за первым приказал долго жить!

Ну, чтоб не тянуть кота за хвост, опустим тот момент, когда техник снова саданул отверткой в микрофон и снова крысой потащил его куда-то вглубь.

А Шамир ждал-ждал, даже немного сердиться начал, но это мало кого беспокоило. Тебя народ выбрал – терпи! Потом он руки в стороны развел, дескать, я не виноват, потом ладони крепко сжал, как при рукопожатии, показать этим хотел, что народ и правительство как никогда едины, потом сел в машину и уехал.

У охраны как гора с плеч свалилась. Главный их даже ботинки снял, чтоб ноги немного отдохнули, ведь весь день на ногах был, к встрече готовился! А тут как раз техник опять появился. То есть это уже третий его выход на сцену был, прямо бенефис настоящий! Но что плохо, третий выход, а он ни разу не переоделся.

– А где наш Ицик? – спросил он удивленно, имея ввиду Шамира. – Как так, уехал?! И со мной не попрощался?! Хотя, ладно, я на него не сержусь. В общем, не страшно, чтоб у нашего премьер-министра не было в жизни большего горя!.. А сказать я и сам могу не хуже чем он!

Техник набрал в легкие воздух, распростер руки в сторону и сказал очень хорошие слова:

– Братья и сестры! Брухим абаим ле Израэль! Добро пожаловать в Израиль!

При этом он запустил руку куда-то назад и почесал в самом неожиданном месте! И мы поняли, что таки приехали на Родину!

Ефим ЩЕРБА

ЗАПИСКИ НА ПОЛЯХ

- Наш парадокс вперёд лети!
- Шалом в мешке не утаишь.
- Это есть наш последний и решительный гой.
- Терпение и труд всё савланут.
- Стена плачет... Я другой такой стены не знаю...
- На лексиконе Элочки-людоедки: «Не учите меня выживать!»
- В иврите нет гласных – на них согласные не согласились.
- Вопреки правилам арифметики, перечёркнутый в банке «минус» почему-то не даёт плюс.
- Министерство социального страхования обещает, что даже в коротком феврале пособие не уменьшат.

ЛИТЕРАТУРИЗМЫ

- Он пишет, как дышит... А дышит часто...
- «Талант не купишь! Но кто сказал, что за него и платить не надо?»
- Критиковали так долго, что стал классиком.
- Плохому рассказу – хорошую критику!
- Мемуары для того и пишутся, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы.
- Выдавая себя за поэта, иногда выдавал такое...
- Воды в рассказе так много специально, чтобы мысль оказалась ещё глубже.
- Авторы и должны писать в основном плохо, иначе как обнаружится гений?
- Если тебе есть, что сказать, зачем же ты пишешь?
- Мечтал попасть в большую литературу, но постоянно промахивался.
- Писать нужно умно, занимательно, грамотно... Где я найду столько соавторов?

По следам рубаистов

Нисан НИЯЗОВ

РУБАИ

Нисан Ниязов – заместитель председателя Союза писателей бухарских евреев в Израиле, родился в городе Бухара (Узбекистан), окончил физмат Бухарского пединститута, специальность – учитель, в Израиле – с 1974 года, автор сборников стихов и песен, лауреат премии имени Мухиба (2011 год).

Автор – о себе: «Со школьной скамьи я проявлял интерес к персидско-таджикской поэзии, в русле которой развивалась и многовековая поэтическая традиция бухарских евреев. Меня всегда привлекали рубаи, особенно принадлежащие перу великого поэта и ученого XI-XII веков Омара Хайяма».

* * *

От старцев, сын, вобрав благословенье,
Держа в душе страх Божий и почтение,
Увидишь воплощение мечты.
Яви к добру – не к злу – своё стремленье.

* * *

Спасенья нет от злословия людского,
Не прибавляет нам успехов злое слово.
Оно ужалит, как змея иль скорпион,
И не уймется, если не ужалит снова.

* * *

Мир – пустота, и в прошлом и теперь.
Кокетству женщин меньше, сын мой, верь.
Даже царям могучим с ними трудно.
Люби, но сдержан будь иль жди потерь.

* * *

Веками скитался по миру еврейский народ.
Мы помним Девятое Ава и помним Исход.
Мы горя и бед за века испытали немало,
Но Господу верным всегда оставался народ.

* * *

Любовь моя! Тобою мир смущён,
Кокетству твоему он удивлён.
Живу тобой я, ты же – лишь собою.
Из сердца моего исходит стон.

* * *

Ближний ошибся? Не радуйся, друг,
Не без изъянов всё в мире вокруг:
Пятна имеют и роза, и месяц.
Лучше себя исправляй в свой досуг.

* * *

О гость, уйдя из сада, что возьмёшь с собой?
В пути нужна отрада?.. Что возьмёшь с собой?
Жил суетно, чего добился? Вот, остался
Лишь саван для обряда.

Что возьмёшь с собой?

* * *

Злой рок мне дал вино, что море бед,
И слёзы от него и тяжкий вред.
Я пригубил однажды эти слёзы,
То – яд, кувшин страданий – его след.

**Перевод на русский язык:
Роберт Бангиев,
Виктор Бохман**

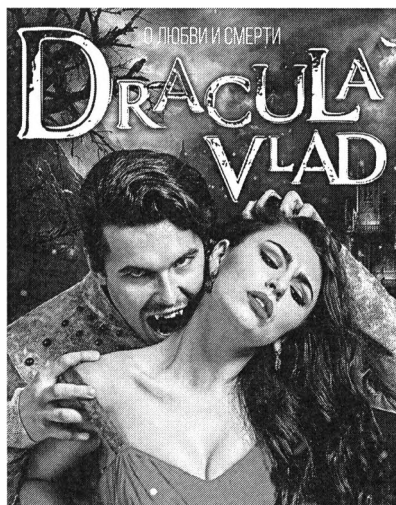
Наши гаспури

О ТВОРЧЕСТВЕ ИГОРЯ ХЕНТОВА

Все известнее становится имя поэта, прозаика, сценариста Игоря Хентова, члена Союзов писателей Москвы и Израиля. В 2015–2017 гг. он широко печатался в «Новом Continente». В 2015 году поэма «Боль земли» для смешанного и детского хоров стала лауреатом конкурса им. Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в Санкт-Петербурге.

В марте и мае 2016 в Израиле и на Украине (Одесса) была широко представлена рок-опера «Моисей».

В том же году в России (Ростов-на-Дону) и в Израиле (Музыкальный театр Еврейской песни Ал.Гринберга) состоялась премьера мюзикла «При-



16 марта 2017 года премьера мюзикла «Дракула» на сцене музыкального театра в постановке продюсерского центра Людмилы Нечаевой. Автор сценария Игорь Хентов

ключения кота в сапогах», который сейчас идёт на театральных сценах Израиля.



Мюзикл «Невероятные приключения «Кота в сапогах». (Израиль, Ростов-на-Дону) Либретто и стихи Игоря Хентова

В марте 2017 – премьера мюзикла «Дракула» на сцене музтеатра в постановке продюсерского центра Людмилы Нечаевой.

В 2017 году – стихи и проза вошли в лонг-лист конкурса им. Шолом-Алейхема и стали дипломантом конкурса. Материалы в сборнике: международный литературный конкурс им.Шолом-Алейхема, проза, поэзия (Москва-Иерусалим)

Автор книги «Родословная» (издатель Дмитрий Юферов), 2017.



Рок-опера «Моисей». Премьера 26.03.16. Постановка музыкального театра им.М.Водяного. в Одессе. Гастроли в Израиле 2016 г. Либретто и стихи Игоря Хентова

ЗВЁЗДНЫЙ КОНЦЕРТ В МОСКВЕ

*Композитор Михаил Машкауцан, актриса Елена Травицкая
и лауреат премии СРПИ им. Виктора Некрасова
поэт Елена Котт восхитили Москву!*

Москва. 26 сентября 2017 года. Красивая осенняя пора... Бабье лето... В Большом концертном зале Администрации Президента РФ на Старой площади состоялся авторский вечер композитора и гитариста Михаила Машкауцана в сопровождении Государственного академического русского концертного оркестра (дирижёр – Засл. арт России Николай Степанов).

Михаил Машкауцан – наш соотечественник. Приехал в Израиль в 1991 году из Молдавии. Он – автор музыки разных жанров, в том числе романса, эстрады, шансона... В начале 2000-х годов встреча Михаила с талантливой поэтессой Еленой Котт стала отправной точкой нового этапа в их творчестве.

Романсы Михаила и Елены уже давно нашли своего слушателя в России, Израиле и многих других странах.

Их пели и поют прекрасные исполнители – Нани Брегвадзе, Валентина Пономарёва, Леонид Серебренников, Сергей Захаров, Евгений Южин, Валерия Ланская, Екатерина Гусева, Ирина Крутова, Инна Разумихина, Лариса Луста и многие другие. Многие из них были и зрителями в концертном зале на нынешнем выступлении.

Приглашение выступить в этом престижном зале в самом центре Москвы поступило ещё год назад. Началась кропотливая творческая работа по подготовке концерта: писались аранжировки для оркестра, шли репетиции с исполнителями. Среди них: Леонид Серебренников, Валерия Ланская, Евгений Южин и Юлия Снежина, Инна Разумихина и Борис Галкин, Наталья Баннова, Галина Улетова, Виталий Ленский, Ирина Крутова, Владислав Медяник, Лариса Луста,





Поэт Елена Котт и композитор Михаил Машкауцан на сцене Большого зала
Администрации президента РФ, г. Москва

Сурен Платонов, Диана Савельева и Анна Аверина.

И вот наступил этот волнительный день, радостный ещё и тем, что он совпал с днём рождения верной подруги и спутницы Михаила – Елены Травицкой, которая нежно и чувственно исполнила романс «Люблю тебя» на стихи

Е. Котт. Она была очень тепло встречена слушателями, которые преподнесли ей роскошные цветы.

В концерте также прозвучали песни и романсы на стихи замечательных поэтов Каринны Филипповой, Светланы Ковалёвой и нашей соотечественницы Светланы Мироновой.

Зал на 1200 мест был полон. Под мастерский гитарный аккомпанемент Михаила прозвучали два самых известных ромansa на слова Елены Котт «Похмелье» и «О грустном не надо». Первый романс Леонид Серебренников исполнил с Валерией Ланской, второй – с Инной Разумихиной.

Вела концерт блистательная ведущая, засл. деятель искусств Галина Преображенская.

На концерте присутствовала выдающаяся исполнительница цыганских песен Валентина Пономарёва. Овациями встречали слушатели каждую песню. Это был незабываемый вечер для авторов. Михаил Машкауцан был награждён почетной грамотой Администрации Президента за музыкальный вклад в развитие культуры.

Концерт прошёл... Закрылся занавес...

Будет радостно услышать о новых выступлениях композитора и гитариста Михаила Машкауцана, который ещё совсем недавно вместе с Еленой Травицкой, Еленой Котт и Леонидом Финкелем выступил в серии Пушкинских вечеров...

Ждём с нетерпением новых побед наших земляков.

К. Еленова, искусствовед
Фотографии Анны Гессель
(Франция)

